

# ЕЛЕНА КОЛИНА



## ТОЛСТОВСКИЙ ДОМ

ВПЕРВЫЕ ВСЯ САГА ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Лучшие книги российских писательниц

Елена Колина

**Толстовский дом**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

**Колина Е.**

Толстовский дом / Е. Колина — «Издательство АСТ»,  
2019 — (Лучшие книги российских писательниц)

ISBN 978-5-17-088455-1

Елена Колина, лучший писатель среди психологов и лучший психолог среди писателей. Ее фирменный стиль – необычайная искренность, тонкий психологизм и поразительное остроумие. Перед вами захватывающий триптих, полный драматических событий и неожиданных поворотов, о жизни нескольких семей, живущих в знаменитом питерском Толстовском доме. Эта книга об их жизни, полной разочарований и очарований, которой живем мы, всё наше поколение, последние десятилетия.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-088455-1

© Колина Е., 2019  
© Издательство АСТ, 2019

# Содержание

Предпоследняя правда	6
Конец ознакомительного фрагмента.	88

# **Елена Колина**

## **Толстовский дом**

© Е. Колина, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

## Предпоследняя правда

*В этой книге нет ничего скопированного с реальности, все совпадения случайны, герои романа не имеют ничего общего с реальными людьми.*

*В романе упоминаются известные люди, названные своими, известными всем именами, и это может внести некоторую путаницу, поэтому просьба не переносить кажущуюся достоверность на персонажей романа.*

*Кстати, отличить реальных людей от персонажей нетрудно: они не разговаривают, а персонажи, напротив, весьма разговорчивы.*

$$y_0 = (n+1) \frac{\kappa_1}{\kappa} + e^{-\kappa\tau} \left\{ \left(1 - \frac{\kappa_1}{\kappa}\right) \sum_{s=0}^n \frac{n^s (\tau - s)^s}{s!} - \frac{\kappa_1}{\kappa} \sum_{m=0}^n e^{m\kappa} \sum_{s=0}^{m-1} \frac{\kappa^s (\tau - m)^s}{s!} \right\}, \quad n \leq \tau \leq n+1$$

*Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук*

– Анечка, детка, я твоя мама! Кто еще скажет тебе правду – тебе тридцать восемь лет... Почему ты улыбаешься?! Может быть, я не в курсе дела и ты замужем?! Так ты просто скажи мне «я замужем», и я от тебя отстану!

Аня в сторону:

– Бу-бу-бу, бу-бу-бу...

– Детка, ты думаешь, что я уже ничему не могу тебя научить, но я могу!.. Не имеет значения, что ты не ребенок, не имеет значения, сколько у тебя было мужчин!.. А сколько у тебя было мужчин?.. Больше одного? Нет, просто скажи мне – больше одного или меньше? Больше одного, но меньше двух?

Аня пишет цифру в воздухе.

– ... ЧТО?! О-о, я умоляю тебя, навсегда забудь число двенадцать, как будто его нет! ... Да, вот так всегда и считай – десять, одиннадцать, тринадцать... А что такого особенного тебе надо считать?! Деньги? Так ты их обжулишь на одну купюру, ты же не специально, – скажешь, что мама велела тебе навсегда забыть число двенадцать...

Монолог сопровождается Аниными демонстративными вздохами, гримасами, угрожающим прищуром, умильными улыбками и украдкой высунутым языком.

Аня включает компьютер.

– А почему ты дома?! По понедельникам ты должна быть в офисе. В офисе ты могла бы встретить достойного человека. А дома у компьютера ты не встретишь ни одного достойного человека, кроме меня. Почему ты дома в понедельник?!

Аня, не отрываясь от компьютера:

– Сегодня вторник.

– Как это вторник, когда я, твоя мама, говорю тебе, что сегодня понедельник?!

*Сцена из сериала «Понедельник во вторник», сценарий Т. Кутельман*

Таня Кутельман родилась в Ленинграде 20 октября 1966 года. Лева Резник родился тремя месяцами раньше, 16 июля. Из роддома Леву и Таню принесли домой, на Рубинштейна, 15, в Толстовский дом.

Толстовский дом, один из самых знаменитых домов в Петербурге, – северный модерн, три соединенных ренессансными арками проходных двора, первый двор выходит на Рубинштейна, третий на Фонтанку... в третьем дворе у нас зимой стоит елка... во дворах фонари, эркеры, галереи, во всем сдержанная буржуазная изысканность декора. В советское время здесь любили снимать кино, выдавая дворы Толстовского дома то за один европейский город, то за другой, а однажды Толстовский дом был как будто Лондон, и здесь как будто жил Шерлок Холмс.

...Во дворе Толстовского дома всегда стоят художники с мольбертами, вьется стайка туристов, туристов привели посмотреть, как здесь красиво... экскурсовод им что-то рассказывает, – можно подслушать, что он говорит.

– Толстовский дом получил премию на Парижской выставке 1911 года. Это изумительный пример стиля «северный модерн»... Что? Сколько стоит квартира в этом доме? Сколько стоит квадратный метр площади в долларах или евро?.. Ну, не знаю, дорого. Иногда в журнале «Элитная недвижимость» можно увидеть объявление: «Продается элитная квартира в знаменитом Толстовском доме». В цене столько нулей, что нужно считать в столбик, сколько это евро или долларов. Это очень дорогая недвижимость – как на Манхэттене или в центре Парижа... Давайте лучше о прекрасном. Дом построил архитектор Лидваль. В сложную планировку здания включена последовательность трех соединенных арками проходных дворов, ведущая с улицы Рубинштейна на набережную реки Фонтанки. Из-за неправильной конфигурации участка продольная ось дворов имеет излом, поэтому аркады не образуют сквозной перспективы... Господи, ну что еще? Почему во дворе между «лексусом» и «мазери» стоят раздолбанные «жигули»? Почему, почему... потому что в этом доме еще остались коммуналки...

Толстовский дом – дорогая недвижимость, но это чрезвычайно странная дорогая недвижимость. Когда рекламируют квартиру в «новом элитном доме», обычно приводят аргумент: «Вы будете жить в однородном социальном окружении». Это означает, что рядом с нами не будет людей беднее нас, не будет бомжа, хирурга из детской больницы Раухфуса, пожилой учительницы географии, бедной бабушки, которая по этому двору в блокаду саночки возила. Людей богаче нас тоже не будет, ни одного банкира, олигарха, нефтяного магната. Рядом окажутся только люди, у которых ровно столько же денег, что у нас, и все вместе мы будем как подстриженный газон... Впрочем, так живут во всем мире – в социально однородной среде, как в манной каше без комков. А ведь чем разнее, тем интереснее. Или?..

Толстовский дом – это не вылизанный стерильный дом с однородным социальным окружением, наш дом уникален по своему социальному разнообразию, здесь представлены все варианты жизни: от роскошных квартир до коммуналок, от «лексуса» до разбитых «жигулей». В нашем элитном, элитном, элитном доме полно странностей и противоречий, у нас в одном подъезде позолота и мрамор, в другом кошки и запущенность, а бывает, что на одной лестничной площадке коммуналка и роскошное жилье. Может быть, в целом мире осталось только одно-единственное место, где представлена вся жизнь, а не кусочек.

В Толстовском доме большие квартиры... Очень большие квартиры, около двухсот метров. В советское время это были большей частью, конечно, коммуналки. Но и отдельные квартиры тоже были, в них жили академики, артисты, начальники и их дети – золотая молодежь.

Таня Кутельман, дочь профессора Кутельмана, – первый двор, третий подъезд, квартира на третьем этаже.

Виталик Ростов, сын знаменитого пианиста Ростова и певицы Кировского театра Моисевой, – первый двор, первый подъезд, четвертый этаж.

Алена и Ариша Смирновы, дочери первого секретаря райкома Петроградского района, – подъезд напротив Виталика, пятый этаж, квартира напротив лифта.

Лева Резник, сын незначительных родителей, жил во втором дворе, – второй двор в Толстовском доме – это не черный двор, второй так же красив, как первый, – в квартире из семи комнат, где кроме Резников было прописано девятнадцать человек.

...Сейчас, конечно, все изменилось. В огромных квартирах, бывших коммуналках, живут очень богатые люди, для них наш дом, наш любимый старый дом, – «престижное элитное жилье». В бывших профессорских квартирах с отваливающимися обоями и сервантами советских времен осталась старая, очень старая советская интеллигенция или потомки старой советской интеллигенции, они могут пройти по двору своего детства с закрытыми глазами.

Все изменилось... Но не настолько «все», как кажется. Коммуналок еще много осталось. И кто там только не живет – милиционеры, модели, врачи, программисты, безработные. Толстовский дом, как Ноев ковчег, – в нем есть все.

У нас бывает забавно: охранник открывает уважаемому господину Резнику дверь «лексуса» – «пожалуйста, Лев Ильич», а мимо задумчиво тянется сосед в отвисших тренировочных образца 1980 года с помойным ведром в руке и, отталкивая охранника, говорит: «Левка-морковка, дай прикурить». Лев Ильич дает, потому что он – Левка-морковка. Они раньше в одной коммуналке жили.

В новом доме с однородным социальным окружением нет прошлого, нет дружб длиною в жизнь, ссор и романов, любви и предательства, а у нас, а здесь... Как говорил Райкин: «А у нас... а где-еся...» У нас жизнь – как будто долгий-долгий сериал. Драма с элементами комедии, с детективной линией и психологической составляющей.

*– Три парадных двора Толстовского дома декорированы так же тщательно, как и фасады. В отделке дворов и фасадов использовались тесаный известняк, кирпич и штукатурка. В отделке дома видны элементы, характерные именно для творчества архитектора Лидваля... Что? Почему в таком дорогом доме до сих пор есть коммуналки? Ну, как почему коммуналки?.. Это же Ленинград. То есть Санкт-Петербург, конечно... Почему я говорю «Ленинград»? Знаете, мы, ленинградцы, когда говорим о прошлом, мы все-таки говорим «Ленинград». Мы ведь родились в Ленинграде, ходили в школу в Ленинграде и...*

И мы боремся с волнами, направляя наши лодки против течения, которое неизбежно относит нас в прошлое.

*Фитцджеральд*

### **Ленинград, 1969 год, обед у Фиры Резник**

Было три звонка, – к Резникам три звонка.

– Я открою, – Илья бросился в прихожую, в глазах – праздник.

В каждом взрослом мужчине можно увидеть мальчика, нужно только подойти к мужчине как к шедевру, на котором, чтобы скрыть художественную ценность, сделана поздняя запись – к примеру, на Мадонне Рафаэля нарисованы лубочная Маша и три медведя. Можно, как говорят реставраторы, «расчистить», осторожно, слой за слоем снять позднюю запись с мужского лица, удалить следы разочарований и побед, жесткости, нежности, неприкаянности, беспомощности... и остального, что у кого есть.

Многих мужчин нужно долго реставрировать, скрести взглядом, чтобы разглядеть в них мальчика, но в тридцатилетнем Илье, не похожем ни на еврея, ни на русского, а похожем на

молодого Марлона Брандо, – смягченный вариант молодого Марлона Брандо, – сексапильный, но не агрессивно брутальный, тоньше, изящней, нежней, с ироничной полуулыбкой, – увидеть ребенка было нетрудно. У Ильи Резника были откровенно детские глаза, счастливые и обиженные, как будто он всегда встречает Новый год, а Дед Мороз запаздывает.

– Кто там? – спросил Илья, подходя к двери.

– А там кто? – раздался ответ из-за двери. Шутка привычная, повторялась не раз, но всегда вызывала смех, Илья и в этот раз засмеялся.

– О-о, о-о... Фирка, иди скорей, ты не представляешь, кто к нам пришел! Кутельман с супругой! Эмка, Фаинка, привет! – восторженно завопил Илья и запел: – То ли дождик, то ли снег, то ли гости, то ли нет...

Из кухни появилась Фира, в переднике, с полотенцем на плече, за ней трехлетний Лева.

Фира – смуглая, большеглазая, с тяжелыми веками, ярко покрашенная, губы красные, веки ярко-голубые. Модное синее в розах платье обтягивало пышную грудь и полноватые бедра. Фира – учительница. Странно представить ее с классным журналом под мышкой, зажатую в безликий бежевый кримпленовый костюм и вообще ЗАЖАТУЮ В ШКОЛУ, – ей бы плясать с бубном, кружиться, с хохотом задирая цветастые юбки, но – никакого хохота, никаких юбок. Фира преподавала математику в школе на Фонтанке на полторы ставки плюс классное руководство.

– Сколько раз тебе говорить – ну и что, что три звонка?! Спроси «кто», дождись ответа, потом открывай, – простой алгоритм, а ты все не понимаешь и не понимаешь!

– А я спросил, спросил! – жалобным подкаблучником припрыгивал Илья, заглядывая Фире в лицо. Это была шутка, у Фире, как говорила ее мать, характер дай боже, но Илья, высокий, худощавый, красивый, – не подкаблучник.

Илья был красив – нет смысла уточнять, как именно Илья был красив, какая у него была форма носа или рта, разве имеет значение форма рта, носа, глаз молодого Марлона Брандо, просто он такой, что сердце замирает. Вот и при взгляде на Илью сердце замирало.

Илья был красив и выглядел иностранно и как будто не отсюда – не из этой коммуналки, не из Котлотурбинного института им. Ползунова, где он трудился инженером, не из советской жизни. Илья Резник с его вечной иронической полуулыбкой был похож сразу на всех героев своего времени, на сексапильного Брандо, разочарованных героев Ремарка, мужественных героев Хемингуэя, на европейских интеллектуалов... Конечно, все это: красота, сексапильность, ироничность, было втиснуто в обличье советского инженера – сшитые в соседнем ателье брюки со старательно выверенным клешем 23 см, белый трикотажный бадлон из Прибалтики, пиджак производства фабрики им. Володарского с модными кожаными заплатками на локтях, вырезанными из старых Фириных сапог. Сшить пиджак в ателье было, как говорила Фирина мама Мария Моисеевна, «не по средствам». Но даже в этой старательно приукрашенной одежде, какую носили тысячи инженеров, Илья не был «человеком Москвошвее», он был похож на кого угодно, только не на советского инженера.

Илья, европейский киногоерой, и Фира, цыганка-молдаванка, были красивая пара, а Кутельманы – некрасивая пара. Фаина – худенькая, приглушенных тонов, такая невзрачная, что за невзрачностью не разглядеть правильные черты лица, и одета как пионерка, белый верх, черный низ. Эмка Кутельман – самый молодой кандидат наук на кафедре теории упругости матмеха университета. Студенты называли его Эммануил Давидович – это в лицо, а за глаза «Эммочка».

Скорей всего, Эммануилу Давидовичу суждено до старости быть Эммочкой, такой он милый и трогательный, – это если смотреть на него добрым взглядом. А если посмотреть на него недобрым взглядом, Эммануил Давидович похож на тойтерьера: маленький, худенький, со спины можно принять за не слишком хорошо физически развитого подростка, – находка для антисемита.

– Профессор, разрешите ваш плащик, – Илья склонился к Кутельману, нарочито угодливо, как швейцар. – Обед уже готов...

Илья улыбался, но ирония не имела отношения ни к чему конкретному, ни к гостям, ни к обеду. Илья всегда одинаков – всегда ироничный киногерой и всегда немного не здесь, как будто его подрезали в полете, окольцевали, и в любое мгновение он готов вскочить и улететь. Куда улететь?.. Туда, где интересней.

Илья и Эмка были в некоторой степени коллеги, Илья – выпускник Политеха, Эмка окончил матмех университета. Илья, инженер в ЦКТИ им. Ползунова, называл Кутельмана, занимающегося теорией упругости, одним из самых сложных разделов математической физики, «профессор», как двоечник говорит «отличник фигов», «зубрилка очкастая», – здесь и насмешливо-презрительная интонация, и подспудное растерянное уважение к тому, что не дано самому. Сам он никогда не будет ученым, никогда.

Но – ученым можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан, и Илья кандидатом станет обязательно – поступит в аспирантуру и через три года защитит диссертацию. Эмка говорит – в НИИ проще защититься, потому что экспериментальную часть можно делать вечером прямо на рабочем месте. Эмка – понимает. Эмка после защиты диплома остался на кафедре, уже защитился, преподает. Он из научной среды, из математической семьи, его отец – знаменитый профессор Кутельман, создавший научную школу, автор учебника по высшей математике, по которому учились несколько поколений математиков.

Иногда Илья обращался к Эмке «профессор, сын профессора». Себя Илья называл «инженер, сын инженера», а Фиру – «Фира, дочь башмачницы», потому что ее мать работала на фабрике «Красный треугольник», стояла на конвейере, вкладывала стельки в галоши.

«Фира, дочь башмачницы» звучит как «Тристрам, сын Сигурда», «Олав, сын Ингвара», название северного эпоса или саги. Фира обижалась, не хотела быть героиней северного эпоса. Тогда «Фира, дочь галошницы», веселился Илья. Фира обижалась всерьез. Илья сердился, что у нее примитивное чувство юмора, Фира сердилась, что ему не все в ней нравится, Илья сердился, что она такая обидчивая, – и все это было лишь поводом для сладкого примирения, как и все другие обиды, ссоры, как вообще все остальное было лишь поводом к их любви.

Из них как будто сочилась страсть, нетерпеливое ожидание ночи, и Фира, такая властная, строгая, такая «учительница», вдруг посреди общего разговора плыла глазами, глядела на Илью млеющим взглядом или вдруг не к месту говорила «Илю-ушка» таким тоном, будто между ними прямо сейчас, на глазах у всех, творится любовь. Кутельман невольно, ненамеренно, как экспериментатор, ВСЕГДА наблюдающий за своей установкой, регистрировал эти приступы влечения, эти внезапные токи. В такие мгновения ему бывало неловко... да что там неловко, это была целая гамма чувств – стыд, как будто он присутствует при чужой любви, и восхищение ими, такими красивыми, сильными, такими телесными, и даже – это было нечасто, совсем редко, всего два или три раза, – случалась робкая убегающая попытка представить, КАК ЭТО – быть на месте Ильи... Но ведь он НЕ МОГ оказаться на месте Ильи. Он не мог оказаться на месте Ильи, ему не нужна была такая жена, как Фира, слишком сильная, слишком телесная...

У Кутельмана вообще было сложное отношение к чувственной любви, и до некоторой поры он был уверен, что он на свете один такой – странный, пока не прочитал случайно одного полуразрешенного-полузапрещенного писателя, который с тех пор стал ЕГО ПИСАТЕЛЬ.

Кутельман был равнодушен к литературе: читал то, что Фаина подсовывала, недавно прочитал в «Новом мире» Грекову об ученых-оборонщиках – не понравилось, перед этим «Мастера и Маргариту» Булгакова в журнале «Москва», Фаина долго на него в очереди стояла, – не понравилось, какая-то надуманность, и ничто его по-настоящему не трогало. Фаина очень любила вопросы типа «Назовите десять книг, которые вы возьмете с собой на необитаемый остров», – он не назвал бы ни одной, кроме, пожалуй, «Высшей арифметики» Дэвен-

порта – сто семьдесят шесть страниц наслаждения. Он был согласен с мнением Гаусса: высшая арифметика имеет неотразимое очарование, превосходит другие области математики, и трудности в доказательстве теорем высшей арифметики делают ее любимой наукой величайших математиков.

ЕГО ПИСАТЕЛЬ занимал особое место в его душе – не на книжной полке на необитаемом острове, а именно в душе, и Кутельман мысленно хитровато улыбался – здесь не обошлось без мистической связи, иначе как мог другой человек так математически точно выразить именно его ощущения?.. Он читал своего писателя нечасто, но когда читал, содрогался от узнавания: это было вроде бы не про него, но совершенно про него. Это не был изысканный стиль или любопытные мысли, мысли были простые, проще не бывает, но от ЕГО ПИСАТЕЛЯ бывало физически больно, и он читал его, когда чувствовал «затупление», – так он определял для себя странное, не то тоскливое, не то сердитое состояние, когда вдруг переставал радоваться жизни. ...Кутельман думал: счастливый, радостный, физически полноценно живущий Илюшка, чувствует ли он иногда «затупление»? Если да, то, наверное, избавляется от него с помощью физической любви...

Кутельман долго не решался прикоснуться к Фаине, совсем как ЕГО ПИСАТЕЛЬ, который в ожидании первого любовного опыта был занят «чем-то трудным, грустным и счастливым, томительной неопределенностью сердца». Кутельман ждал, что первая его с Фаиной физическая любовь, вообще для него первая, будет такой, как его писатель описывал первое сношение с женщиной: «...он все время внимательно слушал высокую точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и открылось, но – уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал – он плачет один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления». ЕГО ПИСАТЕЛЬ от первого опыта «ожидал лишь пустяков, но женщина оказалась устроена неожиданно, и он удивился свободе своего наслаждения...».

«А у меня ничего подобного не было», – написал Кутельман на клочке бумаги после того, как они с Фаиной стали близки, скомкал листок и выбросил.

А у него ничего подобного не было – он ожидал лишь пустяков, и это оказалось пустяки.

Фаина – лучшая жена на свете, близкая, правильная, именно такая, которая ему подходит. Что же касается физических отношений, у них с Фаиной все было как у всех, как положено. У его писателя это очень точно названо – «бедное, но необходимое наслаждение».

– Эмка, а у меня для тебя сюрприз! – азартно, с горящими глазами, сказал Илья, обняв Леву, – это была не ласка, а просто он его придерживал, чтобы тот не убежал. – Неземной, ну-ка скажи, сколько будет девять умножить на два и прибавить восемь?

Лева – хорошенький, пухлый, кукольный, щечки-ресницы-кудри, каким же еще он мог быть у таких красивых, таких ярких родителей?.. Младенцем Лева привлекал внимание везде – на улице, в магазине, в поликлинике. Нависая над Левой, люди охали, ахали, причмокивали, возводили глаза к небу, восхищенно говорили – «ребенок неземной красоты». Так Лева получил шутовское домашнее прозвище Неземной, но из часто употребляемого слова быстро исчезает шутовской смысл, и вскоре между Резниками и Кутельманами уже совершенно обыденно звучало: «Неземному нужно новое пальто» или «у Неземного паршивые гланды».

Горло у Левы было вечно больное, одна ангина за другой, Фира с Фаиной все не могли решиться удалить гланды – Неземной такой впечатлительный, как он перенесет операцию, боль, кровь? Фира водила Леву к знаменитому гомеопату Тайцу на улицу Желябова, Фира с Фаиной по очереди ходили с ним на ингаляции в детскую поликлинику на Фонтанке. Левины

гланды были постоянной темой за столом, «гланды» было слово, которое от многочисленных повторений не потеряло свой драматический смысл. А Таня была крепкая девочка, и гланды у нее были отличные, ангиной она ни разу не болела.

– Умножение? Не смеши. Это у меня для тебя сюрприз, – усмехнулся Кутельман и хитренько попросил: – Неземной, извлеки квадратный корень из шестнадцати.

– Двадцать шесть, папа, четыре, дядя Эмка, – ответил Лева – щечки-ресницы-кудри.

– Из двадцати пяти, – скомандовал Кутельман.

– Пять, – безмятежно сказал Лева.

– Ой, ребята... Ой, ой!.. У меня сейчас бульон перекипит! – панически весело закричала Фира, бросилась на кухню. Фаина пожалала плечами и нехотя двинулась в сторону кухни, – подумаешь, бульон, подумаешь, перекипит.

Фира очень рьяно относилась к приему гостей. Она ко всему относилась рьяно, со страстью: и к бульону, и к семье, и к работе – от нее прямо искры летели. И все у нее должно быть по первому разряду: и бульон, и семья, и работа. И обязательно должна быть перспектива, чтобы знать, для чего жить, сверять каждодневные достижения с жизненным планом, знать, по правильному ли пути движешься. У Фиры есть перспектива, есть уверенность в будущем, – в ее страстном жизненном плане было самой стать завучем, а Илье защитить диссертацию.

Фира большая спорщица и всегда права. Нельзя сказать, что она не прислушивалась к чужому мнению, она очень любила чужое мнение – как повод доказать свою правоту, побороться ЗА СВОЕ, и, победив, завершала спор взглядом «что и требовалось доказать», как будто доказывала у доски теорему, – победоносно повторяла: «Ну что, я права?» и лучилась счастьем.

«Права-права», хотелось ответить. Раз попав в ее орбиту, человек с меньшим, чем у Фиры, запасом жизненных сил, ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, чувствовал от нее почти наркотическую зависимость. Красота – да, конечно, Фира была красива необычной для ленинградской еврейки смуглой теплой южной красотой, но дело было не в красоте. Такое сильное и прекрасное было в ее глазах, улыбке, ей так весело жить, радость так бурно булькала в ней пузырьками, что трава рядом с ней казалась зеленее, солнце солнечней, дождь дождливей. И властность ее как будто обещала: слушайся меня, и будет тебе счастье, в бесцветной твоей жизни вспыхнут яркие краски, и будет тебе весело и энергично.

Ну, а Фаина спокойно относилась к бульону, ко всему. С Фаиной было ОБЫЧНО, но немного напряженно, как будто тебя строго спрашивают: «Ты правильно живешь? Ты достигнешь?»

В сущности, обе подруги хотели ДОСТИЧЬ, но в Фириной системе жизненных ценностей все смешалось, ничто не занимало первого места, – первое место было у ВСЕГО, Фира на каждом сантиметре жизни хотела быть лучшей. Фаино же достижение было другого толка. Ее система жизненных ценностей была строго выстроена. На первом месте была не семья и не работа, на первом месте была идея. Идея такая: она не какая-то «жена», не «мамаша», она отдельный человек. Культурный человек, хороший профессионал.

Фаина работала в почтовом ящике, НИИ без названия и адреса, с единственной координатой в пространстве «Почтовый ящик № 211», была руководителем группы, заканчивала диссертацию, тема диссертации имела отношение к оборонной промышленности и была засекречена так же строго, как адрес НИИ. После защиты у Фаины было ВСЕ ВПЕРЕДИ – она сможет стать руководителем отдела.

На первом месте идея, затем, в строгом соответствии с идеей, – работа, затем культурная жизнь, – Фаина очень боялась пропустить что-то, оказаться не в курсе, не посмотреть, не прочитать, и это было не напоказ, не на публику, а именно для себя. Затем семья в целом, как организм, в семье на первом месте муж, после мужа дочь, Таня. Вслух об этой иерархии никогда не говорилось, Таня «места» не пересчитывала, вдруг горестно обнаружив себя на последнем месте, но у нее, как у всякого ребенка, были свои важные слова, и среди ее важных слов было

«мамина работа». К трем годам она прекрасно знала словосочетание «почтовый ящик», знала даже, что это «секрет», секретное предприятие, но, как человек с хорошим воображением, представляла: мама уходит из дома, залезает в синий почтовый ящик на углу Рубинштейна и Невского – протискивается в щель и там, внутри, в тесном темном ящике, РАБОТАЕТ. А что же еще могут означать слова «работает в почтовом ящике»?

Трехлетний Лева – пухлый красавец, трехлетняя Таня – худенькая и длинненькая, как червячок, отчего-то у миниатюрных родителей получилась высокая девочка, выше Левы.

Таня – откровенно некрасивая девочка, Буратинка с длинноватым носом своего деда-профессора. К тому же какая-то неприбранная, причесанная и одетая без любования – шерстяная кофточка на застиранном ситцевом платье, колготки гармошкой у колен, чахлые волосенки повязаны красным капроновым бантом, совершенно не подходящим к цвету ее волос: к светлым волосам лучше бы синий бант. В общем, сразу видно, что мать этого ребенка – мыслящий человек.

Фира достала из комода свой старый синий бант, перевязала, распустила бант, пальцем подвила висящую прядку, подтянула на Тане спадающие до коленок колготки. Приподняла Таню за колготки, поцеловала, покачала в воздухе, полюбовалась, – стало не окончательно хорошо, но лучше.

## Дневник Тани, 2011 год

*11 сентября*

Знаете, почему я люблю сериалы на двенадцать серий больше, чем на восемь? А сериалы на 24 серии люблю больше, чем на двенадцать?

Чем дольше мы снимаем, тем больше сюжетных возможностей.

Знаете, что мне нравится в профессии?

В сериалах осуществляется высшая справедливость.

У одного персонажа не может быть все время хорошо, а у другого все время плохо.

Это обнадеживает, правда?

Развитие сюжета требует, чтобы у каждого персонажа хорошее чередовалось с плохим, кто сегодня в шоколаде, у того завтра кошмар, и наоборот. У одной героини моих любимых «Отчаянных домохозяек» новый роскошный любовник, а у другой нашли рак – я очень за нее переживала, хоть и понимала, что сценаристы не позволят умереть матери четверых детей, – в конце сезона она выздоровела – ура, – а вот новый роскошный любовник оказался убийцей.

Я люблю американские сериалы за то, что в них высшая справедливость осуществляется БЫСТРО – обычно не нужно ждать даже конца сезона, чтобы за преступлением последовало наказание. Деньги, отправленные в офшор, уносит ураган, измена жене карается попаданием в аварию... Неминуемость и неотсроченность наказания очень утешает.

**ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВООБЩЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО В СЕРИАЛАХ.**

Теперь, когда у меня уже 10 поставленных работ, я автоматически веду сюжет по закону один к трем для каждого персонажа: на одно хорошее событие два плохих и одно очень драматичное.

Но при этом сама легко поддаюсь внушению – с каждым все может случиться, и ничего, они справляются, и ты справишься, и у тебя плохой период сменится хорошим.

Если я, профессионал, так простодушно и упоенно утешаюсь любимым сериалом, как же это действует на неискушенного зрителя?

Как психотерапия, вот как.

Мне нравится, что я помогаю людям как врач, не так радикально, как хирург, – раз и отхватил аппендикс, а как психотерапевт: он чего-то там посмотрел пациенту в глаза, и тому стало легче.

Сериалы помогают пациентам, то есть людям, быть не совсем уж невыносимо одинокими.

Хороший сериал – как дом, где зрителя ждут родные люди, причем это не муж-мама-дети, которые все время чего-то от тебя хотят, а, скажем, двоюродные родственники, ты принимаешь участие в их жизни, но факультативно.

Думаете, я наивно рассуждаю?

Ничего подобного, научные исследования официально подтверждают, что я права: сериалы – это спасение человечества. Сериал «Жители Ист-Энда» показывают в Англии двадцать пять лет. Если умножить количество одиноких людей на количество одиноких вечеров за двадцать пять лет, получится...

Даже если умножить восемь серий моего последнего сериала «Понедельник во вторник» на восемь одиноких вечеров, получится, что я принесла человечеству некоторую пользу.

Знаете, что еще мне нравится в профессии?..

...А знаете, к кому я все время обращаюсь в собственном дневнике? Кому все эти «знаете», «представьте себе», «понимаете»? Никому.

Это потому, что у меня профессиональная болезнь сценариста – комплекс неполноценности. Мне все время нужна обратная связь – хорошо ли я написала, правильно ли, понятно ли, соответствует ли формату канала, вкусу продюсера и редактора.

Все мои коллеги очень любят фразу «сценаристу платят за унижение», но не все знают, кто это сказал, думают, это так, слова народные. А это сказал Шкловский в 60-х годах. Что-то вроде: «Почему так много платят за сценарий? Сама по себе рукопись стоит пятнадцать, ну от силы двадцать тысяч. Остальное – за унижение». Все мои коллеги любят фразу «сценаристу платят за унижение», потому что с 60-х ничего не изменилось.

Сценариста все время оценивают. Оценивает публика, – это нормально, это как будто каждый может тебя пнуть. Недавно соседка сказала мне: «Танька, какое дерьмо показывают по телику, например, сериал... этот, как его, про трех подруг». А прочитать титры сериала «этого, как его, про трех подруг» ей лень?!

Сценариста все время переписывают, сокращают, режут. Сначала продюсер, потом редакторы.

Продюсер говорит: «Хм... что-то ты тут не очень...» Или: «...Здесь не так, здесь не то... Что-то я тебя не узнаю». И, наконец-то: «А вот это ты отлично придумала, но пусть этот персонаж будет не мужчиной, а женщиной». И тут вмешивается редактор: «Конечно, мужчина нам здесь не нужен... но женщина нам здесь тоже не нужна... Придумай что-нибудь другое».

Редакторы просто должны исправлять ляпы, а не иметь свое мнение!

**РЕДАКТОРЫ НА СТУДИИ ДОЛЖНЫ ИСПРАВЛЯТЬ ЛЯПЫ, А НЕ ИМЕТЬ СВОЕ МНЕНИЕ!**

Иногда редакторы работают на канал. Тогда они как будто проводники воли божьей на земле. Они важничают, думают, что точно знают, что нравится каналу.

Мне один раз редактор сказала: «Почему у вашей героини любовник, зрители возмущаются – что это вы такие безнравственные!»... «Вы такие безнравственные» – это я.

Раз так – раз уж они такие нравственные, пусть повесят в своих кабинетах табличку **РЕДАКТОРЫ КАНАЛА НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЛЮБОВНИКОВ!**

Приходится отстраняться от того, что сочиняешь, соглашаться, исправлять – это трудно. Представьте себе, что вы варите грибной суп, а вам говорят: «Да вроде бы нормально, только вытащи все грибы. И картошку. И перловку. А уж о луке и речи быть не может». Хорошо, вы все вытащите – вам же велели. Так что останется?.. И вам же потом скажут: «Что это у тебя суп такой невкусный, одна морковка, фу-у!»

Я привыкла, что меня все время переписывают, сокращают, режут, проверяют на соответствие формату. Поэтому и в дневнике – и в жизни, в отношениях с людьми – мне всегда нужна обратная связь. Я все время хочу спросить – ну, как вам? Как будто каждый может мне сказать: «Таня, это хорошо, а вот это – перепиши». Как будто ВСЕ могут меня отредактировать, переписать, сократить, проверить на соответствие формату.

Что еще мне нравится в профессии?

Деньги.

Мне нравится получать за это деньги.

Я могла бы получать деньги за то, что проверяю контрольные по математике, или за то, что запломбировала зуб, или за то, что работаю мэром Санкт-Петербурга, а я получаю деньги за то, что придумываю, ЧТО БУДЕТ В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ.

Если подумать, то я счастливый человек, и надо быстро начинать писать следующую серию, пока меня не выгнали из сценаристов и не заставили лечить кариес или работать мэром города на Неве.

Знаете, почему я сегодня пишу как восторженный новичок, – «что мне нравится в профессии»? Потому что мне работать неохота. Я уже придумала следующую серию, а теперь надо писать. Придумывать интересно, а писать лениво – это все знают.

Я уже придумала следующую серию, но можно еще подумать и повернуть сюжет по-другому.

Иногда лучше всего самое очевидное развитие сюжета – людям приятно угадать.

Иногда наоборот – придумываю самое неочевидное развитие сюжета.

Иногда мне приснится, что будет дальше. Обычно это что-нибудь драматичное и дорогостоящее, к примеру, крушение поезда, во время которого одни персонажи спасают других, некоторые персонажи испытывают катарсис и круто меняют свою жизнь, а ненужные персонажи погибают или исчезают. Тогда мне говорят: «Это ты здорово придумала – крушение поезда, но у нас на это нет денег». ...Конечно, всегда можно это обойти – входит персонаж с опрокинутым лицом и говорит: «Произошло крушение поезда».

Иногда – часто – я думаю: вот бы мне только придумывать, а писал бы кто-нибудь другой, литературный негр. Я буду получать деньги и делиться с негром. Сколько ему, если почестному, процентов пятьдесят? Или ему тридцать, а мне семьдесят, и я тогда еще буду править его текст.

На самом деле все это была нервная болтовня, – завтра по первому каналу начинается «Понедельник во вторник». Вы думаете, что если у человека десять поставленных работ, то во время премьеры одиннадцатой он включает телевизор и вполглаза посматривает первую серию, то и дело отвлекаясь на выпить чаю?

А может быть, вы понимаете, что если у человека десять поставленных работ, то в день премьеры одиннадцатой его тошнит? От ужаса – вдруг плохо? Одно могу сказать – чем больше поставленных работ, тем сильнее тошнит.

*24 сентября*

«Понедельник во вторник», первая, вторая, третья серии рейтинг был высокий, на четвертой серии рейтинг упал до нуля, потому что по каналу «Россия» в это время был эфир с Пугачевой, потом рейтинг поднялся, на седьмой серии немного упал... И, наконец, сериал финишировал с не ошеломительными, но приличными результатами.

Что мне не нравится в профессии.

Что я каждый раз говорю «твою мать, твою мать, твою мать!», прежде чем начать смотреть новую серию. Мама говорит: «Таня, я слышала, ты опять говорила плохие слова...»

А как же мне не говорить плохие слова?! Я должна себя подбодрить.

Что еще мне не нравится в профессии.

Что каждый новый сериал развивает во мне сразу два комплекса – комплекс неполноценности № 1 и комплекс неполноценности № 2.

№ 1 – каждый день интересуюсь рейтингом сериала у знакомых на канале.

№ 2 – небрежно завожу разговор о новом сериале. Понимаю, что это глупо, но болезненно хочу узнать, как оценивают сериал.

Люди делятся на две группы:

– те, кого манит мир массмедиа.

Фанаты массмедиа с придыханием говорят «это ваш сериал?!!». Эти люди жаждут поделиться со мной своими идеями, говорят – «этот-то сериал ерунда, а вот я вам такое расскажу, это просто готовый сценарий». Обычно это совершеннейшая чепуха, вроде того, что случилось с ними в поезде, в поликлинике. Но приходится кивать – да-да, очень интересно, обязательно использую в самое ближайшее время...

– и те, у кого мир массмедиа вызывает презрение.

Я встретила в «Шоколаднице» на Невском Ленку Певцову.

– Я знаю, что ты пишешь сценарии мыльных опер... сериалов... – «Сериалы» она произнесла, как люди произносят «жаба».

А я знаю, что она профессор.

Она была старостой группы. Если один человек был старостой группы, а другой человек двоечником, то ОДИН наверняка станет профессором, а ДРУГОЙ сценаристом мыла? Или есть варианты?

Я сказала: «Сейчас идет мой новый сериал...», а она так равнодушно: «Да?...», как будто сериал – это чепуха. Сказала, что телевизор не включает никогда, но случайно посмотрела первую серию «Понедельника во вторник». Считает, что хлопотливая еврейская мамочка в первой серии – ЭТО УЖ СЛИШКОМ.

Слишком?... Да, этот нелепый монолог Аниной мамы характеризует ее как человека глуповатого, бестактного и отчасти даже жестокого. Но это мой любимый прием – показать в смешном монологе настоящие чувства! На самом деле эту бедную мамочку переполняют горечь, жалость, ужас за дочь, которая может навсегда остаться одинокой, поэтому она и говорит эти едкие слова: «Может быть, я не в курсе дела и ты замужем?!»

Ведь никто не приводит НАШИ слова, никто не знает, что профессор Певцова и я говорим своим детям, – черт знает что мы можем наговорить своим детям! И чем нам больней, тем больней мы их раним. Иногда мы раним специально, это означает, что наша боль уже переливается через край и мы сию минуту в ней потонем.

На самом деле Анина мама умная, тактичная, доброжелательная, – не меньше, чем профессор Ленка! Ленка просто выключила телевизор, а в следующем эпизоде Анина мама признала, что вела себя как персонаж Островского, как классическая вздорная суетливая мамаша, мечтающая любой ценой пристроить неудачную дочь, даже заставив ее отплясывать канкан в чулках с подвязками. Она ничего не говорит, только улыбается беспомощно, признавая – не права, погорячилась, наговорила глупостей.

Но я не успела объяснить, потому что Ленка продолжила меня критиковать.

– Ты заигрываешь с публикой, используя еврейский колорит. Почему в ее речи проскальзывает характерная интонация, как будто она не в Петербурге живет, а вчера приехала из Винницы?

Почему?.. Ну, во-первых, стареющие люди неосознанно приближаются к своим корням. Может быть, у нее в детстве гостили какие-нибудь КОРНИ – родственники из Винницы, и вот сейчас вдруг вынырнуло, вспомнилось? От волнения за Анечку. ...Ну, и потому что продюсер требует, чтобы был еврейский колорит, это модно.

Но я не успела окончательно оправдаться, потому что Ленке было пора уходить. На прощание она приветливо сказала, что будет и дальше следить за моими работами.

Ну... приятно, когда так внимательно следят за твоими работами.

Бедная моя самооценка...

Что еще мне не нравится в профессии.

Что я сценарист не в Америке, а у нас.

Часто говорят:

– А вы правда пишете сериалы? Я сериалы обожаю, особенно не наши.

– Мне тоже больше нравятся не мои сериалы, – подтверждаю я, и это правда. У сценариста сериала столько ограничений... У нас всего три канала, и на каждом канале свои «нельзя».

На каждом канале свои «нельзя»!

На одном канале очень оберегают нравственность населения. Нельзя, чтобы женщина изменила. Нельзя, чтобы женщина оставила ребенка. Нельзя трогать базовые страхи, например, похищение ребенка.

Кое-что суперинтересно! С психологической точки зрения. Женщина всегда очень нравственная, она не изменит, не бросит ребенка, работу, своего мужика-пьяницу и др. А вот мужчинам на этом канале все можно, чем хуже, тем лучше. Если, например, персонаж бросил жену, лучше, чтобы она была беременная, а он ее к тому же еще и обокрал. Чтобы ей сидеть у коровника в полной безнадежности и оттуда начать свой блистательный путь к вершинам российского бизнеса.

Нет, ну должен же быть у этого какой-то концептуальный смысл?! Наверное, это официальная идея Кремля: мужики в нашей стране говно, а бабоньки хорошие.

Другой канал не любит, чтобы были дети. Только чтобы они мелькали на заднем плане в виде кулька из роддома. Или лучше просто упоминание – мол, у персонажей дети есть. Это «нельзя» мне вообще непонятно, но такое требование – никаких детей. Ни за что нельзя про деньги, про зарплату. Как будто зрители удивятся, узнав, что люди используют деньги в обычной жизни.

Я наизусть помню, что нельзя: дети, деньги... и, кроме всего, что нельзя каналу, нельзя все остальное, – что лично не нравится продюсеру и редактору, что выражает ЛИЧНЫЕ базовые страхи продюсера и редактора. Тогда критерий – не нравится. Что не нравится? Не нравится.

Кроме этого, есть еще страх продюсера и редактора, что то, что им кажется подходящим, не понравится телевизионному начальству. Со студиями, которые снимают по заказу канала, работать трудно – очень связаны руки, то есть мое воображение. Мне нужно помнить, что НЕЛЬЗЯ.

А на канале НТВ нельзя все, что не про ментов. В каком-то смысле проще иметь дело с каналом НТВ.

Если бы у нас было как на Западе...

У них сериалы как настоящее хорошее кино, иногда лучше, чем кино (мой любимый Mad men, из года в год получающий «Эмми» в номинации «лучший драматический сериал»).

У них на кабельном канале НВО можно про секс, про все! А у нас нельзя даже говорить «блин». Только на ТНТ можно, но у ТНТ молодежная аудитория, я для них слишком...

Слишком ЧТО? Слишком умная? Слишком взрослая, вот что. Не то чтобы я так мечтаю писать про секс и говорить «блин», но если иметь в виду правду жизни, то зрители всех каналов через слово говорят «блин».

У нас всего три канала, один из которых полностью подчинен вкусу генерального продюсера, другой – про «муж выгнал беременную», третий про ментов, а кабельные каналы не могут снимать сериалы, потому что бедные как мыши.

Сбудется ли моя мечта – чтобы у нас было как на Западе? И чтобы написать и снять сериал, о котором я мечтаю?

Это не совсем драма и не окончательно комедия. Персонажи должны быть интеллигентные – влюбляются, начинают бизнес, разводятся, теряют работу, испытывают кризис среднего возраста, трудности с пожилыми родителями, решают проблемы с детьми, у кого-то хулиган-первоклассник, а у кого-то хулиган-десятиклассник. Это сериал с позитивным настроением на решение проблем. Зрители должны думать: «С ними происходит то же, что со мной, еще хуже, чем со мной, но они справляются, и я смогу».

Нужно самой быть позитивным человеком и верить, что моя мечта когда-нибудь написать сценарий такого сериала сбудется при моей жизни.

Кстати, вы поняли, что я шучу?.. Или нужно выделить ПРИ МОЕЙ ЖИЗНИ?..

Обычный комедийный прием в американских сериалах – показать окружающую реальность, сделав ее чуть смешнее, чем она есть на самом деле.

Но реальность – это когда все происходит строго по правилам, поэтому любой, самый маленький отход от правил – смешно. Например, мамаша пытается дать учительнице взятку, чтобы она поставила ее ребенку хорошую оценку, – это смешно. Или начальник грозит, что уволит подчиненного без юриста, – и это смешно. В их реальности, не в нашей.

Возможно, продюсеры не снимают такие сериалы, потому что знают – с нашей реальностью этот комедийный прием не пройдет. В нашей реальности нет никаких правил, ее нельзя взять за норму и вести от нее отсчет, сдвигаясь в сторону смешного.

Сейчас на каждом канале советское ретро. Советское ретро считает самую большую аудиторию – 35+. У пожилых людей ностальгия по советскому времени – это ностальгия по своей молодости, у остальных – по советскому детству.

А может быть, дело не в ностальгии? Может быть, советская жизнь кажется нам единственной настоящей реальностью?

– Профессор, давай по рюмке, пока Фирка не видит, – предложил Илья, и они быстро выпили, нарочито испуганно оглядываясь, – ух, пронесло...

Из года в год Кутельманы обедали у Резников... Звучит, как будто «Винни-Пух обедал у Кролика». Кутельманы обедали у Резников два воскресенья в месяц, а два других воскресенья Резники обедали у Кутельманов. Эта традиция не была, кажется, нарушена ни разу, кроме воскресений, которые выпадали на отпуск, но и отпуск обе семьи проводили вместе, так что раздельно проведенных воскресений почти не случалось. Илья и Эмка искренне считали друг друга близкими друзьями, хотя на самом деле дружили женщины, а мужчины поддерживали компанию, стали как будто родственниками, родственниками по браку. Сами они никогда не выбрали бы друг друга для дружбы и даже просто общения, – самый привлекательный, самый главный мальчик в классе никогда не дружит с запоем читающим очкариком, и очкарик находит себе других друзей, близких по духу. Но родственников ведь не выбирают, какие попались, те и есть – родные.

«Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера...» – зазвучало с экрана телевизора.

– О, смотри, Хиль, – оживился Илья, – а мы с ним только что вместе в очереди стояли, меня Фирка в наш магазин за лимонадом послала...

Знаменитый с Сопотского фестиваля в шестьдесят пятом году Эдуард Хиль жил в Толстовском доме, во втором дворе. Илья гордился – не то чтобы Хиль каждое утро выходил во

двор, вставал в свою знаменитую на весь Советский Союз позу, прижав руку к груди, и – «Как провожают парохо-оды, совсем не так, как поезда...». Но все же – вот, Хиль.

В доме вообще жило много знаменитостей, и Илья с его обаянием и умением подружиться без навязчивости со всеми общался по-соседски, казалось, он вообще был знаком со всеми, чьи пути пролегали поблизости от Толстовского дома: в ларьке у Пяти углов пил пиво с Боярским – мировой мужик, здоровался с Алисой Фрейндлих – она жила в соседнем с Толстовским доме и, как уверял Илья, очень восхищаласьлевой, прятельствовал с актерами Малого драматического. Кутельман никем не интересовался и никого не знал в лицо, а Фира с Фаиной стеснялись знаменитостям надоедать, здоровались и проходили мимо, хотя со многими соседствовали всю жизнь.

– Еще выпьем? Пока девчонки там щебечут... – заговорщицки улыбнулся Илья.

Илья не любитель спиртного, он любитель жизни, любитель дружбы – любит компании, разговор под водку, а выпивка для него всего лишь необходимая часть общения, но Фира блюдет его очень строго – за обедом не больше трех рюмок. Илье было многое нельзя: выпить четвертую рюмку, рассказать анекдот с грубым словом, слишком громко смеяться, – всего и не перечислить. Фира запрещала, одергивала, выговаривала, и со стороны могло показаться, что она «слишком раскомандовалась», но на самом деле все Фирино ворчание было не ворчание, а любовь. Запрещать, одергивать, выговаривать, сверлить Илью требовательным взглядом было для Фиры возможностью выразить на людях свою с ним интимность – она ворчит по праву собственности, красавец Илья принадлежит ей. У Фиры с Ильей все гармонично: Фире нравится говорить «нельзя», «я не разрешаю», нравится, что у нее все под контролем, а Илье нравится быть под контролем. Это их с Фирой любовная игра. А выпить вдвоем с Эмкой тайком от Фиры – это их общая игра, Ильи и Кутельмана.

В этой компании вообще было много игры, смеха, подначивания, мгновенных розыгрышей. Изумление Ильи у входной двери – игра, чуть нарочитое Фирино хозяйственное рвение и Фаино подчеркнутое равнодушие к бульону – игра, и «профессор» был не профессор, – все было игрой. И, как бывает в хороших дружеских компаниях, у каждого было свое амплуа: один балагур, другой умница, одна главная, другая отстраненная. Все было игрой, правдой было только то, что Кутельманы действительно были то ли гости, то ли нет.

\* \* \*

Для обеих «девчонок», Фиры и Фаины, эта коммуналка была родной. Фира жила с мамой, и Фаина жила с мамой – в крошечной, как пенал, комнате за кухней.

Девочки учились в школе на Фонтанке, все десять лет просидели за одной партой. Фира была по гороскопу Лев, и характер у нее был львиный, – преданная, страстная, властолюбивая девочка, она главенствовала, требовала, давила, не разрешала Фаине ни с кем, кроме нее, дружить. Фирина любовь к Фаине была такая же, как позже к Илье, – обнимать крепко, душить в объятиях. Фаина подчинялась, ни с кем, кроме Фиры, не дружила. Она не была зависимой, слабой, в учебе была упорней Фиры, просто ее огонь горел не так ярко.

Фаина окончила школу с золотой медалью, Фира с серебряной – в школе любили обеих, но решили, что две золотые медали девочкам-еврейкам будет СЛИШКОМ, и поставили Фире на экзамене по французскому четверку. В институты девочки поступили разные. Фаина пыталась поступить на матмех, но на матмех не взяли, взяли на физфак. На самом деле с физфаком у Фаины получилось странно: на физфак евреев не брали еще в большей степени, чем на матмех, но то ли физика была Фаина судьба, то ли судьба как-то сгримасничала, – ее взяли. А Фира сразу же пошла разумно – в педагогический, на учителя математики, туда евреев брали.

На физфаке мальчиков было много, но у Фаины не случилось ни одного романа, ни одного, за все годы учебы никто не проявил к ней мужского внимания, не дотронулся до нее

украдкой, не прилип к ней взглядом, как будто она не в университет ходила, а в детский сад. В педагогическом мальчиков было мало, но все они были – Фирины. Фира входила в комнату – громкий смех, глаза как звезды, – и как будто свет зажегся.

У Фиры был УСПЕХ, и ей, конечно, полагалась судьба получше. Но что такое судьба получше? Чтобы муж был из хорошей семьи? Или с жилплощадью? Лучший муж – об этом тогда не думали. Выйти замуж ПЕРВОЙ – это да, это Фире было положено, так и случилось.

Фира первая вышла замуж – за мальчика из Политеха, познакомилась, когда пришла на вечер, посвященный 7 Ноября. Мальчик был не обычный, не так себе мальчик, а самый что ни на есть первый приз – высокий, красивый, остроумный, загадочный, – девочки от него умирали. Один белый танец, вальс, – полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом, и Фира Илью схватила и понесла, как добычу.

Перед тем как выйти замуж, Фире еще нужно было свою добычу СПАСТИ – отучить Илью от карт и гулянок, вернуть на правильную дорогу, чтобы он институт окончил. Илья любил выпить-погулять – не для того, чтобы напиться, а чтобы погулять, и вечно с ним что-то приключалось. То он на свидание не пришел, потому что его в милицию забрали, то все деньги на пляже в Солнечном проиграл и пешком по шпалам шел, то ночами в карты играл и сессию завалил. А однажды пришел крадучись, оглядываясь, с трагическим лицом – попроситься навсегда, потому что за ним следят и сейчас его прямо от Фириных поцелуев в армию заберут. То одно, то другое с ним приключалось, и он появлялся со значительным и виноватым лицом, – спаси меня, если хочешь, а Фира укоризненно и строго смотрела – «спасу, не сомневайся». В их паре сразу же распределилось так: он балуется, она СМОТРИТ.

Илья к Фириной коммуналке относился насмешливо – фу-у, коммуналка... Он жил в отдельной квартире. В двухкомнатной хрущевке – с родителями, двумя бабушками и одним дедушкой. Молодым там было место разве что в ящике буфета, и Фира привела мужа к себе в коммуналку. Хрущевская двухкомнатная квартира – две комнаты, кухня, совмещенный санузел – была меньше, чем их с мамой комната сорок два метра.

Комнату разгородили шкафом и стали жить. Шкаф поставили задней стенкой в сторону Марии Моисеевны, дверцами в сторону молодоженов, чтобы Илье не бегать за трусами-носками, а сразу появляться из-за шкафа одетым. Все остальное осталось прежним, только в Фириной части прибавилась двуспальная кровать.

Фаина была свидетельницей на свадьбе.

Фира жила с мужем, и Фаина при них.

Вечерами пили чай, смеялись – Илья рассказывал анекдоты, строил шуточные планы на будущее, в которых Фаина выступала как пожизненная нянюшка его детей, потом Фира с Ильей уходила за шкаф, а Фаина шла на кухню с Марией Моисеевной. Сидели долго-долго, пока от Фиры не поступал условный знак. Она выглядывала из коридора и, притворно зевая, говорила: «Ну что вы так долго сидите, неужели вам спать не хочется...» Тогда Фаина уходила к себе в комнатку за кухней, и Мария Моисеевна шла ложиться спать. Фира была особенно счастлива от того, что Фаина рядом, она хотела бы жить так всегда – иметь в распоряжении сразу троих любящих и подвластных ей людей: мужа, Фаину и маму.

Марии Моисеевне ее зять нравился. «Мой зять из хорошей еврейской семьи», – гордилась Мария Моисеевна. Фире и Фаине было стыдно, что она говорит «еврейская семья». Что в девочках было еврейского? Кроме имен (Фиру назвали в честь умершей бабушки, и Фаину назвали в честь умершей бабушки и дома называли Фенька), кроме Фириных родственников, изредка наезжающих из Винницы? А у Фаины даже родственников не было... Ах да, еще обе мамы, и Фирина, и Фаина, делали форшмак и девочек научили – традиции домашней кулинарии, приверженность к привычной с детства еде держатся дольше всего.

Что еще?.. От Фириных родственников девочки знали несколько смешных выражений на идиш, например «кусн май тохес», – говорилось в шутку, означало «поцелуй меня в зад»,

в смысле «на-ка, выкуси». Или «бекицер» – быстрее, еще «мишугинер» – сумасшедшая. Ни Фира, ни Фаина никогда этих слов не говорили, они вообще все еврейское в себе отметали – они не еврейки, они советские, ленинградские интеллигенты. Интеллигентки они обе были в первом поколении. Фирин отец, Левин дед, был часовщиком, до самой смерти сидел в будочке «Ремонт часов» у Кузнечного рынка, Фаинин отец – сапожник, и оба полуграмотные.

Обе девочки уже начали работать. У Фиры все шло по плану – она без труда распределилась в свою школу на Фонтанке, и классы ей дали хорошие, и даже обещали классное руководство. А у Фаины с распределением были сложности, ее долго не брали – не взяли ни в Институт физики имени Фока, ни в Институт радиофизики, и из Физтеха пришел отказ. Сначала ее не брали в лучшие институты, затем в хорошие, а потом уже просто НЕ БРАЛИ, – отказ за отказом. Может быть, потому что девочке не нужно было идти на физфак, а может быть, потому что еврейка. После многих обидных отказов Фаина была рада оказаться далеко не в самом престижном месте, в почтовом ящике... Все как-то неудачно складывалось, и работа не та, о которой мечтала, и никого у нее не было. Похоже, Фире было суждено быть счастливой, а Фаине – так себе, Фире суждено семейное счастье с красавцем Ильей, а Фаине – быть при Фириной семье.

И вдруг – прошло всего несколько месяцев с Фириной свадьбой, как сказала Мария Моисеевна, «прошло всего-то ничего» – и Фаина вышла замуж!.. Тихая Фаина вышла замуж не выходя из дома, за соседа из Толстовского дома, из подъезда напротив, сына профессора Кутельмана, – перетекла, как ручеек через двор, в другую жизнь, взлетела по социальной лестнице, очутилась в огромной профессорской квартире.

Профессор Кутельман – автор учебника математики, по которому Фаина училась на физфаке, его ученики – кандидаты и доктора наук по всему Советскому Союзу. Илья шутил: «Профессор Кутельман – это советская аристократия, он граф, а Эмма – сын графа, виконт де Кутельман».

– Фенька, как это у вас так быстро? Это что, тайная страсть? – приставал Илья. Кутельманы переехали в Толстовский дом не так давно, Фира и Фаина с Эмкой не были даже толком знакомы – какой-то маленький, щупленький, выбегает из подъезда с портфелем, здороваются и пробегает мимо. И вдруг – замуж!

– Фенька, ты что, по расчету? – не успокаивался Илья.

Фаина улыбалась. У Фиры характер, но и у Фаины характер.

– Конечно, Фаина его любит, она же выходит замуж, – строго ответила за нее Фира. – И, пожалуйста, не называй ее на свадьбе Фенька.

Фира была свидетельницей на свадьбе.

Девочки прежде никогда так близко не видели живых профессоров – только на лекциях, и никогда не бывали в отдельных квартирах в Толстовском доме. Оказалось, что профессорская квартира в точности такая, как их коммуналка, – та же квадратная прихожая, длинный коридор с комнатами по обеим сторонам, только пустыми комнатами, а в их коммуналке в каждой комнате жила семья. В конце коридора большая кухня с чугунной плитой, холодная кладовка с окном – все, до метра, точно так же, как у них.

В их коммуналке жило шесть семей, 22 человека, а здесь двое – профессор Кутельман и его сын Эмма, теперь будут жить трое, те же и Фаина. В квартире обычная советская мебель, тонконогие кресла, сервант, рядом с ними бюро с львиными головами и диван с высокой резной спинкой выглядели как хлам, который поленились вынести на помойку. Везде книги. Разрозненная посуда. Фириной матери на свадьбе досталась кузнецовская тарелка с отбитым краем, Мария Моисеевна, покрутив тарелку в руках, разочарованно прошептала дочери: «Профессор у Феньки какой-то ненастоящий, настоящие-то профессора живут, как баре».

В определенном смысле Мария Моисеевна была права, профессор был «ненастоящий».

Профессор был ненастоящий, и привычке к барской жизни неоткуда было взяться. Осенью восемнадцатого года Кутельман-старший пришел в Ленинград пешком из украинского города Проскурова – такой вот еврейский Ломоносов. Оказалось, что любовь к математике спасла Кутельмана от смерти – в феврале девятнадцатого года в Проскурове произошел страшнейший погром, петлюровская армия за четыре часа вырезала больше полутора тысяч евреев.

Кутельман учился в университете, на кафедре чистой математики на 10-й линии Васильевского острова, его особенно интересовала петербургская школа теории чисел, выучился, работал над теорией чисел, много печатался. В тридцатом году в качестве активного члена Ленинградского физико-математического общества приехал на Первый Всесоюзный съезд математиков в Харьков. За двенадцать лет он впервые приехал в родные места, и поездка эта была странной – горькой до невозможности и до невозможности счастливой.

Кутельман пытался найти кого-нибудь, кто знал, как погибла его семья, – нашел и подумал: может быть, лучше было бы не искать?.. Одно дело знать, что родителей и сестер больше нет, а другое – с мучительной точностью представить, как произошло, что их больше нет... Казаки ворвались в синагогу, разорвали свитки, убили молящихся мужчин, потом изнасиловали и убили женщин и... и девочек. Так погибли его родители и сестры. Кутельман тогда почувствовал себя предателем. Что он делал, когда казаки насиловали его сестер, изучал погрешности приближенных формул определения?.. На 10-й линии Васильевского шел мягкий снег, а девочки, его изнасилованные сестры, умирали... Все погибли, все. ... Все, кроме младшей сестры, самой любимой, нежной, смешливой Идочки. Идочку не видели мертвой, – может быть, не нашли, а может быть, ей удалось спастись, сбежать? Может быть, она сбежала, потерялась и просто не подавала о себе вестей? В ту минуту, когда он расспрашивал о ней, Идочка могла быть где угодно – в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, а скорее всего, на небе...

Но было и счастье. На съезде случилось одно особенное знакомство – молодая женщина, занимающаяся теорией чисел, член Московского математического общества, ученица знаменитого математика, академика Николая Лузина. Прямо со съезда она уехала с ним в Ленинград, стала его женой, ввела его в круг московских математиков, учеников Лузина.

Несколько лет Кутельман был очень счастлив, не только любовью, но и научным общением. Вместе с другими учениками Лузина Кутельман и его жена называли свое общество Лузитания, как будто тайное общество из книг Жюль Верна или Стивенсона.

А в тридцать шестом году Кутельман и его жена чуть не сели в тюрьму – он за теорию чисел, она за теорию множеств.

В «Правде» назвали Лузина «врагом в советской маске». Его и нескольких учеников – Кутельман и его жена были названы в их числе – обвинили в том, что они публиковали статьи в западных научных изданиях, а от советской научной общественности результаты своих работы скрывали.

В прихожей Кутельмана уже стоял собранный чемоданчик с теплым бельем и куском мыла, но Кутельману, его жене и другим математикам повезло. Партийные вожди, которые помешивали страшное варево в стране, сообразили: с математиками не стоит возиться, арест математиков не такой сильный удар по сознанию масс, как процессы отравителей рек или врачей-убийц. Людям все же трудно представить, что теория множеств и теория чисел впрямую угрожают счастью рабочих и крестьян.

Математического процесса не было. Чемоданчик не пригодился, исчез из прихожей, но не из сознания Кутельмана, – он испугался, прекратил работать над теорией множеств. Жена его прекратила работу более естественным образом – в тридцать седьмом году родился Эмка, и рисковать оставить ребенка сиротой ради теории множеств было невыносимо.

Кутельман ушел из науки в образование. Он создал кафедру в Институте Герцена – Педагогический институт имени Герцена был в научном смысле по сравнению с университетом институтом второго сорта, но Кутельман больше не занимался чистой математикой. Он напи-

сал несколько учебников, один из них стал классическим учебником по высшей математике, по которому учились поколения студентов, – но и это не помешало ему сесть в сорок восьмом. Обвинение было настолько одиозным, что, вспоминая о нем, Кутельман всегда совершал ряд одинаковых движений: вздрагивал, недоуменно пожимал плечами, разводил руками, моргал, – обвинение было оскорбительно нелогичным, противоречащим себе даже в формулировке.

В пятьдесят четвертом Кутельман был освобожден, оправдан, но работу в вузе получить не смог. Пять лет он преподавал математику в школе в Гатчине, и только в пятьдесят девятом году тогдашний ректор Ленинградского университета взял его к себе на матмех на место профессора. Через несколько лет ректор добился для него квартиры в Толстовском доме. К тому времени, как Мария Моисеевна назвала его «ненастоящим профессором», у него защитились 13 аспирантов.

«Ненастоящий профессор» Кутельман был идеалист – считал, что все в жизни должно быть получено своим трудом. Отказался избираться в членкоры Академии наук, объяснив это тем, что звание ничего не прибавит к его научным заслугам, а академическими привилегиями он пользоваться не желает. Вот если бы он своими руками построил домик, это было бы правильно, ну а раз не может, нехорошо иметь академическую дачу в Комарово как приложение к званию. Возможно, его жена отнеслась бы к академическим привилегиям иначе, но она умерла вскоре после переезда в Толстовский дом, и он так никого и не приблизил к себе, жил вдвоем с сыном.

Эмка Кутельман, мальчик из математической семьи, рано показал способности к математике, пошел по стопам родителей, преподавал на матмехе, его диссертация была посвящена решению динамических задач нелинейной теории упругости с привлечением теории двухточечных полей и метода конвективных координат.

Все это к тому, что Фаина попала в хорошую семью. Не в барственно-академическую, а в ту, где стиль жизни отвечал ее собственным убеждениям, где главным, пусть не произносимым вслух, словом было «труд». Труд – это смысл жизни, все в жизни своим трудом, каждому по труду.

Когда Фаина сказала, что выходит замуж за Эмку, Фира не смогла удержать лицо. Замуж – за него?! Но, боже мой, разве это мужчина?.. Настоящий мужчина – это Илья, он красивый и обаятельный, от него исходит мужская сила, уверенность в себе. Илья одним своим видом говорит – любимая, ты за мной, как за каменной стеной. А Эмка маленький, щупленький, некрасивый, с подвижным, как у обезьянки, лицом, – с ним Фаина ляжет в постель, он ее единственная любовь навсегда?!

\* \* \*

Обед шел своим чередом.

– Фирка, какой у тебя сегодня потрясающий форшмак, произведение искусства, а не форшмак! – восторженно сказал Кутельман. – У Фаинки такой не получается.

– Форшмак как форшмак, у Фаины не хуже, – довольно улыбнулась Фира. – Я дам вам баночку с собой.

Фаина кивнула – спасибо. У Фаины дома был ее собственный форшмак, не хуже и не лучше Фирино, точно такой же.

Студентками Фира и Фаина питались на 30 копеек в день: Фира брала в институтской столовой половинку первого, гарнир – макароны или картошку, компот, Фаина брала в университетской столовой половинку первого, гарнир, компот. Котлета стоила 8 копеек, киевская котлета 12 копеек, – чем съесть котлету, лучше сходить в кино. В столовой Герценовского института и в университетской столовой на столах всегда были бесплатный хлеб, горчица, соль

и перец, и можно было обойтись без супа и компота, съесть хлеб с горчицей и пойти в театр, – правильный вариант, компромисс полезного с прекрасным.

Бесплатный хлеб с горчицей был уже в прошлом, теперь у Фиры с Ильей две зарплаты, учительская и инженерская, ну, а у Фаины, живущей в профессорской семье, тем более не было нужды экономить на еде.

У подруг было совершенно одинаковое меню: салат оливье, форшмак, пирог с капустой, рыба в томате, паштет. На второе фаршированные перцы, ленивые голубцы – осенью, котлеты или тушеное мясо с картошкой – зимой, в апреле жареная корюшка, в июне молодая картошка с укропом и чесноком. Обязательно куриный бульон – дети его хорошо едят, Таня любит бульон с лапшой, Лева с рисом.

Фира вихрем приносилась домой, победительно раскладывала продукты, с напряженным лицом стояла у плиты – кормила семью со страстью. Фаина готовила застенчиво, словно извиняясь перед собой, что занимается таким неинтеллигентным делом, – в глубине души она считала, что ЕСТЬ не интеллигентно. Но готовила не хуже Фиры, если объективно, точно так же, – рецепты были мамины, а мамы были с одной коммунальной кухни.

Все эти оливье, паштеты, котлеты, приготовленные Фирой и Фаиной из одинаковых продуктов по одинаковым рецептам, если и различались по вкусу, то не поддающимися определению нюансами. Но принято было считать: у Фиры потрясающе, великолепно, праздник, а у Фаины в точности то же самое – просто обед. Самолюбивую Фиру непременно нужно было не просто похвалить, а отметить, что у Фаины хуже, – иначе она напрягалась, становилась задиристой или надувалась, как ребенок. Ну, что же делать, – Эмка хвалил, Илья поддакивал, Фаина кивала, и Фира лучилась счастьем. Они были интеллигентными людьми, все четверо, но у каждого свой характер, у Фиры, как говорила ее мать, «характер дай боже».

– А теперь внимание, – с видом дрессировщика тигров – ап! – сказал Кутельман за столом, когда уже съели закуски, похвалили Фиру, съели бульон, еще раз похвалили Фиру. – Внимание, корень из  $x$  плюс семь равен десяти. Чему равен  $x$ ?

Все четверо взрослых, волнуясь, смотрели на Леву. Фира затаила дыхание, принялась водить пальцем по столу: « $x=...$ ».

– Три... Нет, девять, – мгновенно поправился Лева. Фира и Фаина вопросительно посмотрели на мужей – они не смогли так быстро посчитать в уме.

Кутельман сделал горделивый жест в сторону Левы, что означало – правильно, и Фира с Фаиной облегченно выдохнули.

– Вот черт... Ты победил, – недовольно признал Илья. – Когда ты успел его научить?

– А вчера, – признался Кутельман, – забежал на минутку и научил.

Эмка Кутельман больше всего на свете любил «чтобы было интересно». Научить трехлетнего ребенка извлекать квадратные корни между салатом оливье и бульоном – интересно. У них с Ильей было соревнование: кто научит ребенка более сложному математическому действию. Кутельман уже научил Леву возводить в степень и теперь подбирался к решению простеньких квадратных уравнений – хотел устроить суперсюприз за следующим обедом. Нужно только подумать, как объяснить, чтобы ребенок не автоматически пользовался формулой, а решал осмысленно.

Оказалось, что Лева – гений.

Началось с чтения. Никто не учил Леву читать – ребенку же всего три года. И вдруг Лева прочитал по слогам вывеску на будочке «Ремонт часов» в Кузнечном переулке, той самой, где когда-то сидел его дед, – прочитал «Ремонт часов» и в тот же день перешел к настоящим детским книжкам, – и вдруг он уже читает Пушкина – ГОСПОДИ, ПУШКИНА, РЕБЕНКУ ЖЕ ВСЕГО ТРИ ГОДА!.. На Новый год Таня, запинаясь, бормотала «Идет бычок, качается» и спуталась на второй строчке, а Лева декламировал первую главу «Евгения Онегина».

– А это еще не все. Теперь – гвоздь сезона, то есть гвоздь обеда, – провозгласил Кутельман, – задача: когда идет дождь, кошка сидит в комнате или в подвале. Когда кошка в комнате, мышка сидит в норке, а сыр лежит в холодильнике. Если сыр на столе, а кошка в подвале, то мышка в комнате. Сейчас идет дождь, а сыр лежит на столе. Где находятся кошка и мышка? Лева?..

Лева – глазки, ресницы, щечки, лучезарная улыбка – мгновенно ответил:

– Кошка в подвале, а мышка в комнате...

Илья, Фира и Фаина ошеломленно молчали, перебирая в уме «кошка в комнате, мышка в норке, кошка в комнате или мышка в норке...». Лева быстрее взрослых – с техническим, между прочим, образованием – разобрался в мышках и кошках, – это их поразило. Сидели и думали – господи боже мой, вот это да, ничего себе...

– А мы еще можем, – победно произнес Кутельман. – У Тани сто палочек, некоторые из них белые, некоторые черные. Известно, что хотя бы одна палочка черная, а из двух палочек хотя бы одна белая. Сколько черных палочек у Тани?

– Одна, две, три... – пробормотал Лева. Все напряженно смотрели на него. – Одна.

– Ты его подучил, вы договорились... – внезапно осипнув, прошептала Фира.

– Он просто угадал, он не может решить такую задачу, – улыбнулся Илья. – Левка, объясни, почему одна?

– Ну, это же задача! Дядя Эмка же сказал, из двух палочек хотя бы одна белая... Задача такая... – попытался объяснить Лева.

– Он хотел сказать – любой другой ответ противоречил бы условию задачи, в котором сказано «из двух палочек хотя бы одна белая», – с видом переводчика с не знакомого никому, кроме него, языка пояснил Кутельман. – Ребенок не может объяснить, а решить может. Хотя ты прав, он не решает в нашем понимании, не перебирает варианты. Он как-то иначе это делает, по наитию. Это и есть неординарные способности.

Фаина посадила Леву к себе на колени и принялась гладить по голове, как-то странно гладить, истово и испуганно, как будто заглаживала его, заговаривала.

– Нет, ну это непонятно, это вопрос, – откуда у нас с Фиркой этот чудо-ребенок, мы-то сами не чудо, – растерянно приговаривал Илья.

– Чудо-ребенок, Моцарт в математике, – задумчиво подтвердил Кутельман.

И тут громко, с подвыванием, заревела Таня. К ней одновременно бросились все. Илья схватил Таню на руки и с ней вместе запрыгал по комнате большими прыжками, крича «я кенгуру, ты мой кенгуренок», поднимал ее высоко вверх, дул в нос, щекотал за ушком. Кутельман ходил за прыгающим с Таней на руках Ильей, неловко приговаривая: «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Фира торопливо засовывала ей в рот конфету, Фаина педагогическим голосом приговаривала: «Таня, ревновать к чужим успехам нехорошо, вот если бы ТЫ показала нам, что умеешь, мы бы ТЕБЯ хвалили».

– А-а-а... – отчаянно кричала Таня.

...Со стороны кое-что выглядело странным. Можно понять, почему Кутельман больше интересуется Левой, чем собственной дочерью, – способный к математике Лева ему ИНТЕРЕСЕН, но почему Фаина как будто больше любит Фирино сына, чем свою дочь? Почему Лева в этой общей семье избалованный ребенок, а Таня ничуть не избалована? Но это было не странно, если знать, что Лева – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК, а Таня – ВТОРОЙ ребенок.

Через год после свадьбы Фаины и Эмки почти одновременно, с разницей в неделю, произошли два события: у Фаины умерла мама, а у Фирмы родился Лева. У беременной Фаины, такой, казалось бы, сдержанной, реакция на смерть матери была неожиданная – она собрала вещи и ушла из дома. Вернулась в свою комнату в коммуналке. Соседи сплетничали, что муж ее выгнал, а она просто не могла быть дома, как будто муж и тесть не могли понять ее горя, – только Фира, ей была нужна только Фира. Фира недоумевала: неужели их отношения с Эмкой

совсем не теплые, неужели Эмка не близок Фаине так, как ей Илья, до последней капельки? Ей бы в таком случае – не дай бог, конечно, пусть мама живет сто лет – нужен был только муж, она бы уткнулась в Илюшку так глубоко, как только можно, спряталась в нем от всех, от горя, от себя...

А Фаина уткнулась в теплую Фиру, спряталась в ней и в ее ребенке.

Фаина спасалась от тоски ребенком, бросалась на каждый звук, Фире Леву подносила только кормить. Помощь оказалась кстати: Мария Моисеевна работала, всерьез помогать не могла, а Илья... с Ильей были сложности. Он как будто сердился на Фиру, что она теперь не только его любит. Боялся пеленать, боялся дать соску или воды из рожка, недоумевал, почему Лева плачет, – вел себя как старший ребенок, который мог бы уже и не доставлять хлопот, а за ним самим еще присмотр требуется. Пока Илья постепенно привыкал к ребенку, Фира с Фаиной были Леве как родители.

Соседка по коммуналке говорила: «Ох, он у вас будет балованный, евреи всегда своих детей балуют, лекарствами пичкают, кутают и прямо в пеленках учат читать и писать». Фира с Фаиной действительно растили Леву очень трепетно – баловали, пичкали лекарствами, кутали. Лева тем более был болезненный, капризный и хорошенький, как куколка.

Через три месяца Фаина вернулась домой, и спустя несколько дней родилась Таня. Три месяца Фаина нянчила Леву, не с полной ответственностью, не по-настоящему – все же она была Леве не мама, и Фира была рядом, всего три месяца, но последствия были настоящие – Таня для Фаины была **ВТОРОЙ РЕБЕНОК**.

А второго ребенка растят совсем иначе. Над вторым ребенком ей уже не хотелось дрожать, не хотелось кутать, пичкать, подсакивать на каждый звук, второго ребенка нужно было не просто любить, а воспитывать. Фаина воспитывала Таню по доктору Споку, а по доктору Споку нельзя дрожать, кутать, пичкать, подсакивать, а нужно положить ребенка в кроватку и дать поплакать, а самой заниматься своими делами.

Несправедливо, когда один ребенок балованный-кутанный-пичканный, а другой по доктору Споку, но Фаина уже была опытная мама и понимала – ничего с ребенком не сделается, поплачет и уснет. Младенец Таня росла в строгости по доктору Споку, а в три месяца Фаина отдала Таню в ясли и поступила в аспирантуру.

– Я... я... я... – всхлипывала Таня с конфетой во рту.

– Таня, у тебя тоже есть способности, ты их обязательно проявишь, – утешала Фаина. – Главное – упорно работать над собой. Но ты должна понимать, что бывают люди способнее тебя, что Лева талантливый, и это не причина для рева.

Таня выплюнула конфету и заплакала еще громче, приговаривая: «Я... я... я...»

Все думали, что Таня хочет сказать: «Я, я, я, – я тоже здесь, не только Лева». Что она ревет от ревности, от недостатка внимания, – надо сказать, вполне обоснованно ревет, девочка не виновата, что она не одаренный ребенок, а обычный. Но Таня пыталась сказать совсем другое, пыталась и не могла. Человек в три года не может выразить словами такие сложные чувства, которые испытала Таня, когда Лева мгновенно решил сложную задачу и взрослые обомлели, – изумление, любовь, осознание Левиного великолепия и своей малости по сравнению с ним. Таня плакала от прекрасности момента, плакала **ОТ ЛЕВЫ**, как чувствительные люди плачут от прекрасной музыки.

Лева удалился за шкаф – за шкафом была родительская спальня, кроватка и подоконник с игрушками, собственно, полуметровый подоконник был «Левиной комнатой», на подоконнике лежали игрушки и книжки, здесь же Лева расставлял солдатиков и возил машинки.

Комната Фаиной матери теперь принадлежала Фаине и стояла пустая. Фаина уговаривала Марию Моисеевну переселиться в эту комнату, намекала, как тяжело Фире с Ильей жить с ней вместе. В одной комнате с мамой было действительно невыносимо тяжело, любовь

Фиры с Ильей превращалась в мучительный ритуал: подождать, пока затихнет мама, не раз прислушаться, шикнуть на Илью «ты что, тише!», вовремя придавить ему рот подушкой, чтобы не разбудил маму, не забыть и себе заткнуть рот подушкой, – Фирина любовь была громкая. На Фирины слова: «Если нам сейчас так хорошо, представь, как было бы, если бы мы были одни...» Илья смеялся – бодливой корове бог рога не дает. Фира обижалась: «Мой рог – это то, что я тебя люблю? Пожалуйста, тогда мне ничего не надо...» Илья улыбался – ты всегда первая не выдерживаешь... Но и он, конечно, устал, в одной комнате с мамой – это мучительство, а не любовь.

Но Мария Моисеевна, во всем покорная дочке, ни за что не хотела переселяться в Фаинину комнату, уперлась: «В чужую комнату непрописанная не пойду, нельзя, не по правилам, меня накажут...» И сколько Фаина ее ни уговаривала, сколько ни объясняла, что сейчас мягче закон о прописке, чем прежде, что она имеет право кого хочет в свою комнату поселить, – нет, и все!

...Лева вынес плюшевого мишку, протянул Тане – на! У Левы такое светлое, доброе, щекасто-глазастое лицо, он сам похож на плюшевого мишку, – и от переполнявшей ее благодарности и восхищения Левою, от невозможности выразить свое восхищение Таня заплакала еще громче.

Илья увел Таню за шкаф, открыл дверцу и посадил Таню в шкаф – на стопку Левиных рубашек. От неожиданности – вдруг оказаться в шкафу! – Таня замолчала, и Илья, быстро вытерев ей рубашкой слезы и сопли, подул в нос, пощекотал за ушком, нашептал глупые бессмысленные слова – «малыш-глупыш», «малыш-мартыш», «малыш-коротыш» – и через несколько минут вынес из-за шкафа уже улыбающегося ребенка.

– Девочки, это вы виноваты. Мы с Эмкой тщеславные дураки, а вы-то матеря, – вроде бы шутливо, но всерьез сказал Илья, – а матеря должны соображать, – этими аттракционами мы одного ребенка доведем до комплекса неполноценности, а другого до комплекса величия... Что, комплекса величия не бывает?..

Илья повернулся к Тане:

– Танька, не реви, комплекса величия не бывает! Когда Левка получит Нобелевскую премию, он нас не забудет! ...Девочки, можно нам с Танькой выпить за Левкину Нобелевскую премию?.. Будьте добры, Таньке «Колокольчик», мне «Столичную».

Таня потянулась со своим стаканом с лимонадом, чокнулась с Ильей. Илья посадил Таню на колени, прижал к себе, покачивая, как младенца.

– Наша Танечка, не плачь, тете Фире скоро медаль дадут, она тебе ее покажет, – меланхолически приговаривал он. – Или сразу орден – «Самый принципиальный учитель Ленинграда».

– Что случилось? – забеспокоился Кутельман. – Фирка, у тебя неприятности? Почему не говорила?

– Не говорила, потому что стыдно, – отмахнулась Фира, – в нашей школе и такое! Выяснилось, что одна наша учительница в конце года, перед тем как выставить годовые оценки, брала подарки от родителей. Подарки дорогие – коньяк, коробки конфет. Это взятка.

– Не может быть, – ужаснулась Фаина, – прямо не верится – конфеты, коньяк...

– Ну, ты представляешь?! Мы воспитываем новые поколения граждан, внушаем, что у нас все только своим трудом, – и вдруг такое! Позор, пятно на всей школе, на звании учителя! Все шептались по углам, а я не стала, прямо поставила вопрос на педсовете.

Илья все покачивал Таню на коленях и вдруг неожиданно резко раздвинул колени, и она провалилась – в ямку бух! – рассмеялась.

– Давайте я вам лучше анекдот расскажу, – предложил Илья. – Старый еврей говорит жене: «Знаешь, Сарочка, если кто-нибудь из нас умрет, то я, скорее всего, перееду в Одессу...»

...Было еще бесконечно много обедов. Танин рев, конечно, забылся, как забылось благое намерение не доводить одного ребенка до комплекса неполноценности, а другого до ком-

плекса величия. Илья и Эмка продолжали соревноваться – чему еще можно Леву научить. Илья научил Леву играть в шашки, Эмка в шахматы, Илья тут же научил Леву сицилианской защите, Эмка ферзевому гамбиту... Так они и развлекались Левоу, как заводной игрушкой, заводишь ключиком, и она безотказно прыгает. И каждый обед теперь превращался в математический аттракцион «Лева, посчитай, Лева, скажи...». К трем с половиной годам Таня съела под «Лева, а сколько будет... Лева, скажи...» десятки котлет, блинчиков, куриных ножек.

Кстати, кроме простеньких квадратных уравнений Кутельман планировал для Левы еще инварианты. Существуют задачи, в которых описываются некоторые операции, совершаемые над каким-то объектом, и требуется доказать, что чего-то этими операциями добиться нельзя. Решение состоит в отыскании некоторого свойства, которое сохраняется при операциях, но отсутствует в конечном состоянии. Такие свойства называются инвариантами. Например, задача: круг разделили на 6 секторов, в каждом лежит монета, за ход можно монету передвинуть в соседний сектор, можно ли собрать все монеты в одном секторе за 20 ходов?.. «Ребенку МОЖНО это объяснить, – радостно уверял Кутельман, – а потом я ему объясню полуинварианты...»

«Потом» оказалось значительно позже. Квадратные уравнения трехлетний Лева научился решать – подставлял в формулу значения чисел и получал ответ. А с инвариантами не вышло. Лева не смог.

«И слава тебе господи, не надо нам такого», – сказала Мария Моисеевна.

И правильно. НЕ НАДО НАМ ТАКОГО. Откуда-то она, необразованная, галошница, оказалась умнее умного Эмки Кутельмана. Слава тебе, господи, что Лева не смог. Лева был одаренным, талантливым, но совершенно НОРМАЛЬНЫМ, без патологии.

## Дневник Тани

Я ЯЯ шесть лет Я есчо неумеу пысат  
мама пиритшколай учитминЯкричит тычто неможеш букву д хвостиком наверх тупица  
тряпчнаяЯ  
ддддурак  
Левкадуракурит тобагспики варут доманиночут  
Амежду протчим фсе неумеютписат нитолкоЯ Левкаканешноумет.  
Вот люди важные вмаий жызне  
моЯ мама  
ана кондедаднауг любит книгТЯркино  
уние принципы мне многонелЗЯ нилЗЯ  
нилЗЯ прасить новьюкофту о трЯяпках толко пустышки  
нилЗЯ никокда говорить про денги что у маево папы балшаЯзарплата патамушто уфсех  
меньше нелЗЯ зкзат што мойпапа праффесор мойдедушк тожэ. этазнатчит Я хвастаюс ХотЯ  
пачему  
нилЗЯ говорить унас балшаЯквартира патамушто этонемоЯ заслуга адедушки  
другиидети жывут вкамуналке Лева жывет камуналке  
Я далжназнат што Я никрасиваЯ  
Я далжна расчитоват насвою голува аненанешность ана пройдеата абразавания астанитисЯ

исчо Мой папа  
нистрогий униво нетпринципов патомучто он толкороботаает засталом. У папы адин  
нидостаток онкурит  
он гаварит сЛевоу умных вещах фчера они гаварили немагу зкзат проштопроцыфры

исчо тетЯФира нашидрузЯ анахарошае  
и дЯдЯИлюша все исчо не кандидат наук но Явсеравно еволюблуд онвиселый  
мама считаает он гулЯк ыли исчо леинтЯй

исчо мненилЗЯ спаршываать аткудо бирутца дети

исчо самое главно штоуминЯ это Лева  
Яйго ллублу  
Лева сомно нидружит ининадопадумайш

\* \* \*

Фаина с ее склонностью из воспитательных соображений преуменьшать Танины достижения и никогда Таню не хвалить, прочитав Танин дневник, сказала бы – ничего особенного, писать многие умеют, к тому же Таня хвостик у буквы «д» не в ту сторону загибает.

Но из Таниного дневника понятно, что Таня Кутельман – интересная девочка. Описатель жизни.

Дело не в том, что в шесть лет Таня уже вполне сносно писала, во всяком случае знала все буквы и бойко складывала слова в предложения. Она дала осмысленные оценки своим родным, обнаружив наблюдательность и умение выразить суть. Фаина, наверное, и на это бы пожала плечами – ничего особенного, это типично девчоночье: оценивать, сплетничать.

Но Фаина так никогда и не прочитала Танин дневник.

В квартире Кутельманов было шесть комнат: комната деда, кабинет деда, спальня Эммы и Фаины, кабинет Эммы, Танина комната и гостиная. Старший и младший Кутельманы сидели каждый в своем кабинете, Фаина чаще всего была на кухне, а гостиная стояла пустая, и шестилетняя Таня прятала дневник в гостиной, в книжном шкафу, за собранием сочинений Горького. Фаина говорила – сейчас уже никому не придет в голову читать Горького.

Никаких интимных секретов в дневнике поначалу не было. Таня и не задумывалась, почему она не хочет, чтобы кто-то увидел дневник, очевидно, это был инстинкт защиты своего частного пространства, тот же инстинкт, что ведет девочек, когда они делают секретки. Вырывают в земле ямку, кладут серебристый фантик, наверх лепесток, сверху стеклышко, получается секретик.

Повзрослев, Таня прятала дневник с уже настоящими секретами – первая любовь, вторая любовь и так далее, прятала весьма изобретательно. Не под матрас или за батарею, как все, а будто научилась у Агаты Кристи не скрывать улику, а простодушно держать в самом очевидном месте. Все школьные годы дневник – тетради, конечно, менялись – лежал на ее письменном столе, и никому в голову не пришло, что посреди тетрадей в клетку за 48 копеек, по биологии, по химии, по литературе, есть одна особенная тетрадь. Исписанные тетради хранились все в том же детском месте – за собранием сочинений Горького.

Впрочем, все эти предосторожности были излишни. Фаина не стала бы читать дневник дочери – все интеллигентные люди знают, что чужие письма и дневники читать нельзя, а она интеллигентный человек.

Из Таниного дневника понятно, как Фаина воспитывала дочь – «как положено в интеллигентной семье», ни на шаг не отступая от своих принципов. Мамины принципы Таня обозначила четко, стандартные интеллигентские принципы того времени: образование во главе угла и полное отрицание пола. Девочка должна расти, не культивируя свою женственность, лучше всего бесполой.

Услышав вопрос «откуда берутся дети», Фаина побледнела-покраснела, но собралась и четко выразила свою мысль – существуют тайные, плохие части тела, о которых интеллигентные люди не говорят и даже не думают. От этого разговора у Тани осталось убеждение, что она гадкая, раз спрашивает, и недоумение – как может быть плохой частью тела? Ведь быть плохим или хорошим – это сознательный выбор, а эта тайная часть тела ничего не выбирала, она не виновата, что она есть... Но Тани больше нельзя спрашивать, откуда берутся дети.

Бедная Таня, как же ей узнать, откуда берутся дети?.. Наверное, кто-нибудь во дворе расскажет.

Из Таниного дневника следует, что в семье Кутельманов произошли приятные события, – впрочем, не приятные, а ЗАСЛУЖЕННЫЕ. Фаина защитила диссертацию, стала начальником отдела. Молодец, добилась! А Эмка стал доктором наук. Это большая редкость, чтобы так быстро защитить докторскую, но с математиками и физиками это бывает, если работа талантливая. А Эмка талантливый. В университете о нем уже не говорят «сын Кутельмана», говорят «молодой Кутельман» или «самый молодой». Эммануил Давидович Кутельман – самый молодой доктор наук на матмехе. У Эмки Кутельмана уже есть аспиранты.

Ну а Илья пока не защитился, и – немного настораживает – Таня пишет «он не кандидат наук, но я все равно его люблю». Кто же из взрослых в этой компании ставит свою любовь в зависимость от научной степени? Неужели Фира? Или сами Кутельманы? И еще одно настораживает – «гуляк». Таня, конечно, имеет в виду «гуляка». Илья, что же, разлюбил Фиру?!

Первая запись в Танином дневнике без числа. Она пишет, что ей шесть и она должна идти в первый класс, – очевидно, это было лето 1973 года.

\* \* \*

В 1973 году Таня Кутельман и Лева Резник пошли в первый класс. Косички корзиночкой, белые банты, белые гольфы, белые гладиолусы у Тани, серый пиджачок, мешковатые серые брючки, красные гвоздики у Левы. У Тани на лице странное выражение – смесь восторга, недоумения и решимости не выпустить из рук тяжелого букета гладиолусов и не заплакать. Лева в школьной форме, в сером костюмчике, невозмутимый, нежный щекастый малыш, был уже не таким младенчески хорошеньким, чтобы называть его детским прозвищем Неземной, вместо теплых каштановых кудрей мальчишеская стрижка, такая короткая, что волосы казались совсем темными.

Фаина могла бы не учить Таню писать, оставить это учительнице первого «А» Коноваловой Ольге Николаевне, толстощекой крашеной блондинке, похожей на румяную пышку, присыпанную сахарной пудрой. Но Фаина хотела, чтобы ее дочь была успешной, – кричала, требовала, чтобы у буквы «д» хвостик был вверх.

В первом классе «А» школы № 206 писать и читать умела одна Таня. Не считая Левы, но Лева, как сказала Коновалова Ольга Николаевна, вне конкурса.

Первый раз в первый класс отмечали у Фире.

... В этот раз обедали не в воскресенье, а в понедельник. Обед вне расписания был в честь Левы и Тани – этим утром для них прозвенел первый звонок.

Одновременно праздновали еще одно событие: Кутельман получил приглашение на Международный математический конгресс.

Международный математический конгресс, самый влиятельный съезд ведущих математиков мира, созывался раз в четыре года, последний конгресс проходил в Ницце, следующий будет в Канаде, в Ванкувере, через год, в семьдесят четвертом. Кутельмана пригласили прочесть доклад на секции математических проблем физики и механики. Приглашение на конгресс означало, что работа Кутельмана признана мировым математическим сообществом как наиболее яркая в своей области за прошедшие четыре года – есть что праздновать!

Повод для празднования был, с одной стороны, чрезвычайно значительный, с другой стороны – совершенно смехотворный: международный конгресс в Ванкувере будет через год, но Кутельмана на конгресс уже не пустили. Приглашение на конгресс пришло Кутельману на адрес университета – на прошлой неделе вызвали в первый отдел и вручили, вернее, показали.

– Вы уж на нас не обижайтесь, – сказал начальник первого отдела, забирая у него приглашение и пряча в сейф.

Кутельман кивнул – не обижаюсь.

Кутельмана не пустили за границу ни разу, ни на одну научную конференцию, приглашения копились в первом отделе университета, и он даже не обо всех знал. Кроме преподавательской и научной деятельности на матмехе, у Кутельмана было еще полставки по НИС, научно-исследовательскому сектору, в ЦНИИ Крылова. Несмотря на небрежное «полставки», теория оболочек, которой он занимался в институте Крылова, была не менее важной частью его научных интересов, чем кафедральные работы, возможно, более важной частью. Приложение теории оболочек – оборонная промышленность, это танки, самолеты, подводные лодки. У Кутельмана была первая форма секретности, самая жесткая. «Вы уж на нас не обижайтесь...» было нежным флером на грубой очевидности: обижайся не обижайся, математика-еврея, имеющего отношение к оборонке, не выпустят НИ ЗА ЧТО.

– Ты мог увидеть Ванкувер... а следующий конгресс, возможно, будет в Париже. Я бы полжизни отдал, чтобы увидеть Париж... да и Ванкувер тоже... – мечтательно зажмурился Илья, и лицо у него стало как у Тани в ее первый школьный день, – восторг и недоумение. – Представляю, как тебе обидно...

Кутельман пожал плечами – Илья иногда ведет себя как ребенок! Разве дело в «увидеть»? Конференции – это возможность научного общения, а без научного общения не может быть полноценной науки. Ванкувер, Ницца, Париж... разве можно хотеть того, что ни при каких обстоятельствах невозможно? Ему никогда не увидеть ни Ванкувера, ни Парижа, ни даже Болгарии. Что они все заладили – обидно ли ему?..

– Обидно, досадно, но ладно... – ответил он словами Высоцкого.

Радость от приглашения на конгресс уже была пережита – в кабинете начальника первого отдела, так что празднование выходило совсем уж формальным, – что праздновать, приглашение в сейфе? – и героем дня или героем обеда был не Кутельман, а дети, первый раз в первый класс.

На расстоянии нескольких минут от Толстовского дома было три школы, две в Графском переулке, одна на Фонтанке. Логично было бы сразу же, без раздумий, отдать детей в школу на Фонтанке, где Фира могла бы за ними присматривать, но тут мнения Кутельманов и Резников разошлись. Кутельманы считали, что присмотр – не хорошо, а, наоборот, плохо. Вредно для формирования характера. У Левы и Тани не должно быть ощущения «блата», они должны чувствовать себя такими, как все, а не учительскими детьми. Фира не настаивала, не обижалась, не доказывала, ее правота – держать малышей под крылом – была настолько очевидна, что она только улыбнулась Фаине и Эмме, как несмышленым детям, и документы, и Левины, и Танины, отнесла в свою школу. Кутельманы еще что-то обсуждали, сомневались, решали, что важней, принципы или соображения удобства, а Таня была уже записана в 1 «А» класс школы № 206.

– Левка, тебе в школе было страшно? – тихо спросила Таня.

– Человек испытывает страх, когда для страха есть причина, – так же тихо ответил Лева. – Причина может быть двух видов. Конкретная причина, например дикий зверь, лев, или пожар. Или придуманная причина, что ты сама себе навоображаешь. Давай рассуждать. Диких зверей в школе нет, пожар маловероятен... А придуманной причины для страха у меня тоже не было. Чтобы было не страшно, можно о другом думать, я в уме задачку...

– А ты не можешь просто сказать: чтобы было не страшно, я задачку решал, – недовольно вздохнула Таня и соврала: – Ну и что, мне тоже было не страшно.

Дикого зверя в школе, конечно, нет, а учительница?.. Вдруг она будет на нее кричать и обзывать тупицей тряпачной?.. Левке-то хорошо, его никто не назовет тупицей тряпачной.

– А мне купили скрипку, – похвасталась Таня, – я буду на скрипке играть... скрипка дисипля... дисцапли...

– Дисциплинирует, – услышав, вмешалась Фаина. – Скрипка прививает человеку дисциплину.

Фира с Фаиной бегали с тарелками и блюдами из комнаты в коммунальную кухню и обратно, принося с собой случайные запахи чужой еды и папиросного дыма, Илья крутился вокруг проигрывателя – пластинку с альбомом Wings «Wild Life» дали послушать на два дня, и Илья два дня слушал его в режиме нон-стоп: сначала любимейшая песня «Вір Вор», потом весь альбом и опять «Вір Вор»... а Кутельман сидел в кресле у окна, смотрел в пространство.

«Вір Вор», еще раз «Вір Вор», а Кутельман все сидел у окна, смотрел в пространство. Он часто так задумывался-замирал и вдруг как будто приходил в себя, встряхиваясь, как собака, – это означало, что в голову пришла мысль, которую нужно записать, и он беспомощно оглядывался в поисках ручки и листа бумаги. Но мысли, бродившие сейчас в его голове, записи не подлежали. «...Нужно было не брать это письмо, – в который раз мысленно повторял Эммануил Давидович, – не брать, не брать! Нужно было сказать: “Вы ошиблись адресом, Давид Кутельман здесь не живет”».

С покупкой школьных принадлежностей для Тани протянули до последнего дня, и 30 августа Эмма пришел домой донельзя измотанный: полдня бегал от Гостиного Двора к ДЛТ и обратно, сверяясь со списком. Ранец, мешок для сменной обуви, тетради в косую линейку, тетради для чистописания, ручка, карандаш мягкий, карандаш твердый, линейка, резинка, пенал, картон, картон цветной, цветная папиросная бумага, чешки для физкультуры, обязательно белые... В ДЛТ не было цветного картона, в Гостином не было чешек, в ДЛТ чешки были, но черные... Кутельман поставил последнюю галочку в списке и уже почти подошел к дому, как вдруг вспомнил: а учебники, а букварь, черт его подери, – «мама мыла раму»?..

Англичанин вошел вместе с ним в лифт, помог ему вывалиться с пакетами из лифта, придержал дверь... и вышел вместе с ним. На слова «Does professor Kutelman live here?» Кутельман машинально кивнул, – он так устал, что просто кивнул и показал на дверь – здесь я и живу, я и есть профессор Кутельман... Англичанин с сомнением посмотрел на Кутельмана и уточнил: «Professor David Kutelman. He is supposed to be around 70...»

Англичанин на ломаном русском объяснил: он в Ленинграде с неофициальной миссией от Красного Креста. Люди пытаются найти своих родных, у него целый список адресов. Professor David Kutelman, очевидно, отец... и сын тоже профессор, это же настоящая научная династия, это впечатляет...

Ой... Как говорит Мария Моисеевна, «ой, боже ж мой!»... Глупо, непростительно глупо было продолжать разговор, но он постеснялся выглядеть идиотом. На слова «Does professor Kutelman live here?» он кивнул, – да, здесь. И что же – испуганной курицей замахать крыльями, бормоча: «Нет, нет...»?! Постеснялся солгать, постеснялся увидеть вспышку понимающего презрения в глазах англичанина.

От письма нужно было отказаться. НЕ БРАТЬ. Англичанин этот, конечно, понятия не имеет, что это не обычное советское опасение, не трусливый отказ от родственников за границей, у него самая серьезная причина, какая может быть, – секретность в оборонке. Но Кутельман вдруг... с ним произошло что-то неожиданное, неопишное, наверное, Танин букварь в пакете так на него подействовал – вдруг он подумал фразой из своего детского букваря: «Мы не рабы, рабы не мы», – и взял письмо, и тут же ужаснулся своему мысленному пафосу, и смешливо подумал: «Мама мыла раму».

Письмо было от сестры отца, Иды. Короткое, неуверенное, оно ведь писалось в никуда, просто на всякий случай. Сухая информация: жизнь Иды в Америке сложилась успешно, в настоящий момент она является вице-президентом банка «Merrill Lynch», хороший сын, дочь неудачная, с дочерью не общаются... И только в конце, как будто другой рукой, скачущие строчки: «Если ты жив и не ответишь, я пойму. Давка, любимый братик, если ты жив...»

Невероятно, нереально! Сестра отца нашлась через – сколько лет? – через пятьдесят, после двух войн, после стольких лет железного занавеса... Она американизировалась, у нее уже не наше сознание – с неудачной дочерью не общается... Что ему со всем этим делать? Не сказать отцу о письме невозможно.

Но сказать означает признать факт получения письма из рук иностранца. При его форме секретности любой, даже самый невинный контакт с иностранцем – на улице, в кафе, по меньшей мере может повлечь за собой отстранение от работы, – это крах всей жизни, а при желании может быть истолкован как измена Родине. В любом случае это крах всей жизни. И ради чего это – крах всей жизни?.. Он не диссидент, не борец с режимом и вообще – НЕ БОРЕЦ. Он математик и занимается не только чистой математикой, работает на оборонку.

Поступить предусмотрительно, сказать отцу и предупредить первый отдел о том, что нашлись родственники за границей? Невозможно, порядочный человек не имеет с ними дела, не играет по их правилам, не стучит в КГБ на самого себя. Что НЕВОЗМОЖНЕЙ?

...Все невозможно. Но что же это за страна?! Что бы ни было, интересы Родины, оборонная промышленность, военные секреты, но, господи, что это за страна, которая не позволяет встретиться двум старикам даже в письмах... «...страна!» – подумал Кутельман и испугался... кажется, он впервые в жизни выругался матом, хоть и мысленно.

Как только они наконец сели за стол, Фира сказала:

– Эмка, расскажи сначала, как прошла защита твоих аспирантов, тебе же не терпится...

– На первом месте у него работа, на втором аспиранты, а семья у него на третьем месте, – шутливо, тоном сварливой жены сказала Фаина. Аспиранты были частью «работы», но так звучало драматичней – семья на третьем месте. Ей нравилось говорить, что семья на третьем месте, – это правильно, так и должно быть, а лучше бы на пятом или на шестом...

– Один защитился блестяще, а другому кинули два черных шара, нужно посылать работу в ВАК. Ну, ничего, я им покажу, они у меня попрыгают, они у меня как миленькие признают свою предвзятость, свои ошибки... – воинственно сказал Кутельман. Он возился со своими аспирантами, как с детьми, и сейчас был так взволнован, будто это лично ему кинули два черных шара.

– Вот видишь, – в пространство сказала Фира. Все поняли, что означало это «вот видишь», – это было сказано Кутельману, но на самом деле не Кутельману, а Илье, и означало: «Вот видишь, жизнь идет, люди защищаются, а ты, когда уже ты?!»

– Профессор, у нас тут «первый раз в первый класс» или заседание Ученого совета? – отозвался Илья, и в его голосе прозвучало предостережение, не Кутельману, а Фире, это было «Фира, отстань от меня...». Прежде Фира с Ильей разговаривали друг с другом, а не через посредников, но кандидатская диссертация была болезненная тема.

Илья так и работал в Котлотурбинном. Ему повысили зарплату, после института он был инженер с зарплатой 105 рублей согласно штатному расписанию, а теперь инженер с окладом 110 рублей. Если он защитится, ситуация кардинально изменится – ему дадут старшего научного сотрудника с окладом 140, а то и 160 рублей.

Может быть, Фирино страстное желание, чтобы Илья стал кандидатом, неприлично? Стыдно из-за денег портить себе и мужу жизнь.

Но разве Фира из-за денег!..

«Я – из-за денег?! – возмутилась бы Фира. – При чем здесь деньги?! Человек обязан расти, развиваться, достигать! Это же для человека ЕСТЕСТВЕННО!.. Что же, Илья до седых волос будет инженером штаны просиживать, это же стыд-позор!»

Она действительно считала, что «инженер – кандидат наук – доктор наук» – это естественный жизненный цикл, как биологический цикл «куколка – гусеница – бабочка».

Правда, если уж совсем честно, на доктора наук Фира даже в душе не замахивалась, как педагог она понимала – необходимо учитывать материал, с которым работаешь. Все же Илья, любитель преферанса, на мечту «доктор наук» не тянул.

Но кандидатом может и обязан стать каждый! Фира была в этом убеждена, и в своих мыслях она не была одинока, вместе с Фирой Резник целая армия технарей, инженеров НИИ, советских интеллигентов средней руки думала: «диссертация, диссертация», мечтала о вожделенной кандидатской степени, – вот такой интеллигентский фетиш, знак, что ты чего-то стоишь.

Четыре года Фира спрашивала Илью, четыре года, каждый вечер: «Илюшка, когда ты начнешь?» Со временем в вопросе зазвучали другие нотки. Фира спрашивала: «Это что, только мне надо?! Ты что, сам не хочешь защититься?!»

– Фирка, давай лучше по Невскому погуляем, или Эмку с Фаинкой позовем... или сами к ним сходим...

– Вот именно, Эмка! Посмотри на Эмку! – с педагогическим напором говорила Фира. Она по-учительски была уверена – положительный пример должен сыграть положительную роль. Но Илья вел себя как самый плохой ученик – не поддавался воспитанию, но и не возражал.

Фира не сдавалась, теребила, настаивала, кричала, даже от постели его отлучала – ненадолго, на день-два, Илья над ней подтрунивал, – она так решительно объявляет мораторий на любовь, рукой прочерчивает между ними границу в постели – и не смей ни на сантиметр ко мне приближаться! – и всегда сама же первая переходит границу.

Иногда Фира шутила – вечером, когда Лева засыпал, а мама уходила к соседке, подкрадывалась к смотрящему телевизор Илье и рывкала мужу в ухо: «Где диссертация?! Ты что, не любишь меня, что ли?!» Илья смеялся, хватал ее, тянул за шкаф: «Сейчас ты увидишь, как я тебя не люблю!» И Фира таяла, распадалась на молекулы, – «распасться на молекулы» было интимное выражение, означало ее полную готовность к любви, таких интимных слов между ними было много, – и каждой молекулой любила Илью. Какой он красивый, остроумный, обаятельный, настоящий мужчина, она за него жизнь готова отдать!

Любовь любовью, но Фира не смирилась – она была не из тех, кто смиряется, кто покорно ждет у моря погоды! Она лопнет, а сделает из Илюшки человека!!

Разве это ради денег, это – ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН! Фира заранее все решила, все продумала: две карьеры на семью много, поэтому она и пошла в школу работать, в школе кроме зарплаты есть возможность репетиторства, – она будет работать, зарабатывать и даст возможность Илье защитить диссертацию.

Илье нужно было сдать экзамены, кандидатский минимум. Фира вечерами писала билеты по философии, чтобы ему самому не рыться в учебниках, конспектировала Гегеля, Маркса и Энгельса, подсовывала Илье готовые конспекты – глупо было надеяться, что Илья потратит свое вечернее время у телевизора на «Происхождение семьи, частной собственности и государства» или на «Материализм и эмпириокритицизм». Фира даже пыталась выучить английский, – в школе у нее был французский, а Илье нужно было сдавать английский, нужны были переводы технических текстов, «тысячи». Илья постоянно напевал себе под нос песни своего любимого Маккартни, выучил, как попугай, Uncle Albert – и это вместо того, чтобы переводить технические тексты?! Говорить Фира, конечно, не научилась, но хотя «тысячи» снились ей по ночам, недурно справилась с переводами.

Если бы можно было, она бы английский и философию из себя вынула и в его голову положила! Но Илюша у нее такой... особенный, ласково-ускользающий, вымыливался из ее рук, нежно говорил: «Фирка, завтра...» «Завтра?! – угрожающе шипела Фира. – А что СЕГОДНЯ?!»

Илье не приходило в голову расхрабриться и решительно сказать: «Я не хочу». Не хочу диссертацию, не хочу быть как Эмка. Ему не приходило в голову попытаться хотя бы мягче, в форме предположения, сказать: «А МОЖЕТ БЫТЬ, я не хочу диссертацию», даже такая беспомощная попытка была немыслима – настолько было очевидно, что Фира права, а он двоечник. Он только иногда ласково огрызался: «Фирка, я твоя педагогическая неудача» – и уточнял: «Самая большая педагогическая неудача, самая красивая, самая сексуальная неудача...»

А Фира, между прочим, хороший педагог, Фире Зельмановне Резник давали самые сложные классы, к примеру восьмые, никто не мог с ними работать, а она справлялась, и не только строгостью и силой, а красотой, улыбками, блестящими глазами. В каждом классе по 40 подростков, и Фире с ними легко, и все хулиганы у нее по струнке ходят, а с одним Ильей не может справиться! Но ведь параллель восьмых классов на самом деле не такое уж важное дело, – если она не справится, кто-то другой возьмет. А Илья – это муж, если она не справится, кто его возьмет? Он без нее пропадет.

Кандидатский минимум Илья сдал, Фира добила, но с диссертацией пока никак... ну не может она написать за него диссертацию!

Написать не может, но может, чередуя нежность и строгость, заставить, направить. Итог Фириных четырехлетних трудов был не блестящий, но обнадеживающий: философия – четыре, английский – четыре, специальность – четыре, и все это было – любовь.

...Раздался звонок, потом еще и еще один, – звонили сразу во все звонки.

Фира возмущенно фыркнула – что за наглость, – вышла в коридор, через минуту вернулась, объяснила:

– Близнецы из первого подъезда, ДОЧКИ. Надо же, отец большой начальник, а они бегают без присмотра, по квартирам ходят... Стоят на площадке, заглядывают в дверь – а Лева выйдет?.. Оч-чень бойкие девочки. Как они слевой познакомились?.. Девчонки не стеснительные, сами и познакомились, во дворе, и в гости пришли. Удивились, что в квартиру столько звонков, нажали сразу на все.

– Бедные партийные сироты никогда не видели коммуналку, – усмехнулся Илья.

Отец девочек, первый секретарь Петроградского райкома, этим летом получил квартиру в Толстовском доме. Теперь каждое утро во дворе стояла черная «Волга», такие «Волги» в народе называли членовозами. Сам начальник – человек еще не старый и, кажется, НЕ НЕПРИЯТНЫЙ. Во всяком случае, выходя из своей черной «Волги», здороваётся, улыбается... А вот жена у него неприветливая.

– Это Алена с Аришей?.. Что вы им сказали? – взволнованно привстала Таня.

Алена самая красивая девочка во дворе, в классе, в мире, она как немецкая кукла с золотыми волосами и огромными голубыми глазами. Ариша – ее сестра, этого уже достаточно, чтобы быть особенной. Алена с Аришей обе особенные, неудивительно, что они хотят дружить слевой. ...А сней не хотят.

– Сказала, что мы обедаем, у нас праздник в честь Левы и Тани. А одна из них, которая повыше, говорит: «А можно нам с вами обедать, у нас тоже праздник, мы слевой в одном классе», – удивленно пересказала Фира. – ... Да уж, эти дети воспитанием не блещут. Мы с их родителями даже не знакомы, а они «можно с вами?»...

Таня сникла: Алена с Аришей в одном классе С ЛЕВОЙ, а ее вообще не заметили!

Илья подмигнул детям:

– Таня, Лева, у меня для вас кое-что есть...

Илья обожал дарить подарки и всегда устраивал из этого целое представление: прятал подарки, рассовывал по углам записки с указаниями, дети должны были искать. В этот раз в кухонном шкафу лежали два набора чешских фломастеров.

– Пошли, дети... дети, кричите ура, у вашего папы бура, – приговаривал Илья, уводя детей.

– Вечно ты пересыпаешь свою речь картежными поговорками... Ладно, идите ищите подарки, – разрешила Фира и посмотрела на Фаину заговорщицким взглядом, словно запустила ее: «Давай начинай».

Фаина с готовностью вступила:

– Эмка, мы тут с Фиркой подумали – а что, если ты возьмешь Илюшку к себе? В целевую аспирантуру? Будешь его научным руководителем?..

– Илюшка просто застоялся, расслабился, вся эта жизнь в НИИ его затянула – колхозы, отгулы... – вступила Фира.

– Ты же знаешь, как Фирка за него переживает... – поддержала Фаина, и все это стало похоже на отрепетированный спектакль.

Эммануил Давидович, конечно, знал, – живя общей жизнью, как они жили, невозможно было не знать, как важна была для Фирки Илюшина защита, – и не знал, НАСКОЛЬКО важна для Фирки была Илюшина защита. Все же они встречались только за столом, только в приподнятом праздничном настроении, – как будто из года в год приезжаешь отдыхать в один и тот же курортный городок, кажется, что жизнь там – только море и солнце. Но в каждом доме шла своя жизнь, чужая жизнь, про которую невозможно знать все до самого последнего, стыдного. Откуда Кутельману за Фиркиной лучезарной улыбкой увидеть все ее «Илюшка, Илюшка, давай, Илюшка!..», как будто он спортсмен и никак не может взять высоту или как будто он скотина, а она его погоняет...

– Эмка, отвечай быстро, пока Илюшка с детьми возится... – строго сказала Фира.

– Но я... – замялся Кутельман.

Фира посмотрела на него взглядом «никаких “но я”».

– Но Илюшка... – пробормотал Кутельман, и Фира посмотрела на него взглядом «никаких “но Илюшка”».

– Но ведь, не говоря обо всем прочем, у меня уже есть договоренность о новом аспиранте... и это, не говоря обо всем прочем... Илюшка сам не захочет ко мне! Он не знаком со сложным математическим аппаратом... Ты не сможешь его заставить! – бессильно вскричал Кутельман.

Фира с Фаиной засмеялись, – Фирка НЕ СМОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ?! – и Кутельман улыбнулся, развел руками.

– Ну, сказал глупость, извините, девочки. Но есть одна по-настоящему важная вещь. Если Илюшка пойдет ко мне в аспирантуру, он автоматически получает секретность. Он не сможет даже в Болгарию поехать... не говоря уже о капстране... он никогда не сможет увидеть Париж... А ведь он полжизни отдаст за Париж, он мне говорил... Зачем же мы будем?..

– Подумаешь, Болгария, подумаешь, капстрана... где Париж, а где мы?.. – отмахнулась Фира. – Диссертация важнее...

Кутельман машинально, стараясь скрыть смущение, потянулся к хрустальной салатнице.

– Эмка! У тебя почки! – Фира встрепенулась, посмотрела возмущенно. – Тебе нельзя винегрет, там соленые огурцы! Я уже месяц отучаю тебя от соленого и острого, а ты – винегрет! Ты что, забыл про пиелонефрит, ты что, хочешь приступ?!

– Я больше не буду, – пробормотал Кутельман.

Фира не сказала больше ни слова об аспирантуре – принялась наводить на столе порядок, переставлять салатницы, собирать использованные салфетки, но Кутельману было совершенно ясно, что у него вскоре будет новый аспирант. И Фире было совершенно ясно, что теперь все

наконец-то будет хорошо. Как же ей раньше не пришла в голову эта мысль! Подумай она три года назад, что Эмка может быть Илюшкиным научным руководителем, за сегодняшним обедом они обсуждали бы Илюшину защиту! А не каких-то чужих людей!

– Я выйду на минутку?.. – по-ученически попросился Кутельман. – Пойду... покурю.

Он зашел в туалет, как всегда мгновенно удивился запаху – не грязного туалета, а какой-то неопределяемой коммунальной дряни, взял с полочки коробок спичек и консервную банку, которую здесь использовали как пепельницу, взглянул на себя в криво висящее на стене зеркало и снова удивился, как будто увидел незнакомца, – какое печальное лицо...

Прочитав письмо, отец будет страдать. Он старый человек и навсегда испуган – тюрьма, лагерь, годы неработы... Он сойдет с ума, будет метаться между страхом за сына и желанием хоть на мгновение припасть к своим. Отец не понаслышке знает, что чувствует человек, которого лишают математики, лишают любимой работы, он понимает, ЧТО для его сына работа... Несправедливо, что к концу жизни человек должен сделать выбор – прошлое или будущее, сестра или сын, зная, что выбора на самом деле нет. Кутельман представил отца так ясно, словно тот стоял рядом, смотрел на него робким – может быть, все-таки можно? – и понимающим взглядом – нельзя... Придется взять все на себя, избавить отца от мучительных сомнений.

Кутельман зажег спичку и улыбнулся – как все-таки человек одинок... в комнате, за столом его жена и самые близкие друзья, а он как заговорщик сжигает письмо в туалете в консервной банке, и поговорить с ними нельзя, – такие вещи не обсуждают, и такие решения принимают в одиночку.

Он еще раз совестливо проверил себя – нет ли здесь лукавства, не подыграл ли он себе, приняв решение в своих интересах? Кажется, все логично, но отчего же так стыдно, так безумно стыдно, как будто отнял конфету у ребенка? ... «Я стыжусь, значит, существую, – подумал Кутельман, перефразировав знаменитое “Я мыслю, следовательно, существую”, и зажег спичку. – ... Бедный папа».

Бедный, бедный папа... Англичанину – он придет за ответом послезавтра – передать на словах от себя: Давид Кутельман жив, есть сын, внучка Таня, но поддерживать отношения невозможно. Подчеркнуть, что это не отец отказался – это его, только его решение, и ответственность на нем. Пусть Ида простит.

... Фразу «Я стыжусь, значит, существую» придумал не Кутельман, это была фраза Владимира Соловьева, русского философа, который послужил прообразом Алеши Карамазова и на смертном одре молился за евреев и читал псалом на иврите. Кутельман о запрещенном философе Соловьеве даже не слышал, а про стыд просто совпало – совестливые оба.

За чаем все вместе, вчетвером, обсуждали, как достать билеты на премьеру «Мольера» в БДТ, – Фира с Фаиной встанут в очередь за билетами вечером, а ночью Илья с Эмкой будут стоять в очереди посменно, полночи Эмка, полночи Илья. «Я могу всю ночь...» – азартно предложил Илья, но все одновременно покачали головами – нет. Потом вдруг Фира выскочила из-за стола, бросилась за шкаф и вернулась в новом пальто и покрутилась перед столом под восторженные возгласы мужчин и Фаино «Я тоже такое хочу, дай померить!». Потом Фаина примерила пальто, Фира спрятала пальто в шкаф, закрывая шкаф, нежно погладила рукав и принесла пирог с капустой, потом обсуждали повесть Искандера в «Новом мире» «Сандро из Чегема», потом фильм «Калина красная». Можно ли поверить в то, что вор-рецидивист изменит свою жизнь под влиянием любви простой хорошей женщины, и вообще, имеет ли смысл надеяться на то, что возможно изменить, перевоспитать взрослого человека, – Фира одна была за перевоспитание и спорила со всеми так яростно, как будто не о фильме, а о себе, и потом опять позвонили в дверь.

– Три звонка. Это уже к нам, – Фира побежала открывать, вернулась, давась смехом. – Опять близнецы. Теперь за Таней приходили. Упорные!.. Открываю дверь, стоят, – а Таня выйдет?..

Таня вскочила, счастливая, уже готовая убежать, оставила торт, на ходу спросила:

– Мама, тетя Фира, можно мне гулять?

– Нельзя. Сиди и ешь котлету, – неожиданно резко ответил Илья, и Таня удивленно переспросила:

– Котлету? Я уже торт ем. – И заняла: – Ну мо-ожно гуля-ать? Нет, ну мо-ожно? – ныла Таня, послушно доедая торт, она так мечтала, чтобы близнецы ее заметили, и они заметили! Почему нельзя?! Дядя Илюша никогда не вмешивался в детские дела. Тем более вот так – сиди и ешь торт, какая ему разница, кто что ест.

– Это знакомство никому не нужно, – отрезал Илья.

Таня чуть не подавилась тортом. И взрослые посмотрели на него удивленно, и Лева – обычно его папе хватает нескольких минут, чтобы подружиться, в отпуске на пляже, с соседями по даче, он может подружиться даже на троллейбусной остановке. Почему он не хочет, чтобы они дружили с близнецами?

– Мне нравится играть с Аленой-Аришей, они командуют, а я могу с ними играть и думать, – примирительно сказал Лева, и все растроганно заулыбались, – умница, играет, а сам думает... Все, кроме Фиры: все Левою командуют, Лева всегда уступает. Нежный, чувствительный ребенок – как он будет жить? Он же пропадет в этом мире!

– Чтобы я тебя, Лева, и тебя, Таня, рядом с ними не видел! – сердито сказал Илья.

– Папа, почему? – удивился Лева.

Почему-почему... Илья пожал плечами, запел: «Ах, не шейте вы ливреи, евреи, не ходите вам в камергерах, евреи...» ...Как объяснить ребенку, что близнецам дома скажут: «С Левою Резником можете дружить в школе, а домой к нему ходить не нужно».

Как объяснить ребенку, что партийным начальникам общаться с евреями не то чтобы нельзя – официальных распоряжений, конечно, нет, но сами начальники знают: им с евреями НЕЛЬЗЯ. Как объяснить, что если начальники и испытывают к евреям интерес, то не к Резникам из коммуналки, а к таким, как доктор наук Кутельман. Чуть презрительный интерес к забавному существу другой породы. Ведь еврею столько всего нельзя, нельзя, к примеру, стать секретарем райкома. С другой стороны, ему столько всего нельзя, а он пробился в науку, умный, хоть и второго сорта человек...

– Ну, просто вы, дети, должны понимать, что они – это они, а мы – это мы, – неуверенно продолжал Илья. Черт, зачем он в это ввязался?.. – Вы должны понимать, что мы евреи...

– Нет! – вскричала Фира и даже пристукнула рукой по столу. – Нет!

– Что, мы не евреи? – дурашливо осведомился Илья. – Хорошо, как скажешь. Дети, вы зулусы.

– Я не зулус и не еврей, я аид, – сказал Лева.

Илья ехидно улыбнулся, как человек, нежданно получивший весомую поддержку.

– Вот видишь, – довольно сказал он. – Ты этого хотела?

Фира дернула плечом – ЭТОГО она не хотела. Но догадаться, откуда взялось слово «аид», что на идиш означало «еврей», было нетрудно – двоюродная тетушка из Винницы, а кто же еще!

Двоюродная тетушка из Винницы была типичная «двоюродная тетушка из Винницы», персонаж Шолом-Алейхема, милая, хлопотливая, любопытная, разговаривала на смеси русского, украинского и идиш. О каждом соседе по квартире, о каждом новом знакомом она придирчиво спрашивала: «Он аид?» Илья последовательно представил ей в качестве «аида» соседа Петра Ивановича, соседку Клавдию Васильевну и портрет Хемингуэя с трубкой. За этим последовали Левины громкие вопросы на кухне, что такое аид, кто в их квартире аид и почему

соседка тетя Клава не знает, что она аид. Был большой скандал – Фира кричала, что «все это, сам знаешь что» еще не повод не уважать ее родственников и морочить голову ребенку. «Все это, сам знаешь что» была чудесная тетушкина наивность, которая так и призывала шаловливого Илью – подшучивай надо мной, всегдашняя готовность Ильи все превратить в повод для анекдота и Левина страсть задавать вопросы. Лева всегда задавал свои вопросы везде, где только мог – на коммунальной кухне, во дворе, в детском саду.

Четких ответов на свои вопросы Лева тогда не получил, он был совсем еще маленький, и казалось, забылось.

Но у этого ребенка мозг, как накопитель, – отложилось и в нужный момент выскочило.

– Никаких евреев! Детям всего семь лет, – решительно сказала Фира.

– Не нужно, чтобы они так рано знали слово «еврей»... Пусть считают, что все люди одинаковые, – согласилась Фаина, мастер четких формулировок.

– Да все уже, понимаете, все! – возмутился Илья. – Они в школу пошли, вы их уже отпустили от своей юбки! Как им будет ПРАВИЛЬНО узнать? Когда Леву назовут жидом на перемене? Когда Таня заглянет в классный журнал, на последнюю страницу с графой «национальность»? Прочитает, и будет шок – все «русские», а она не такая, как все. Будет думать, что это стыдно, стесняться?.. Вам ТАК нравится?!

– Можешь говорить что хочешь, но не при детях! – холодно сказала Фаина.

Илья беспомощно улыбнулся.

– Эмка, ну хоть ты здесь здоровый человек, скажи им!

– Но что тут спорить, это наше неосознанное желание уберечь... На самом деле мы все думаем одинаково – пусть как можно дольше думают, что ничем не отличаются от других, что они как все. Я считаю, пока не стоит акцентировать внимание на проблеме... – мягко произнес Кутельман.

Женщины закивали – Кутельман, как всегда, оформил их эмоции в приемлемую форму.

Почему такой простой, казалось бы, вопрос, вызвал спор, почти ссору? Что они думали «на самом деле»? Да так и думали: они евреи, но дети... детям – рано. Не то чтобы скрывали, просто умалчивали... Думали: они евреи, но, может быть, как-нибудь пронесет?

Казалось бы, самое очевидное сказать, что в Советском Союзе много разных национальностей: украинцы, белорусы, таджики, грузины, а они, Резники и Кутельманы, – евреи. Но Лева спросит, почему в газетах не встречается слово «еврей». По телевизору его никогда не произносят, говорят «украинцы, белорусы, таджики, грузины»... а евреи?!

Сказать разговорчивому Лева и болтушке Тане, что они евреи, но не должны обсуждать это в школе с другими детьми и с учителями? Но почему, быть евреем стыдно?..

Сказать – гордитесь, что вы евреи, но тайно. Но тайное означает плохое. Как ни выкручивайся, для детей это травма.

Сказать – не гордитесь, не стыдитесь, просто знайте... Объяснить своему ребенку, что он, такой любимый, такой прекрасный, заведомо виноват? Объяснить, что эту несправедливость не понять и не исправить никогда, что мир вокруг не прекрасный, а несправедливый? Объяснить, привести примеры, разрушить розовое солнечное детство? НУ НЕТ. Просто знать не получается, и тогда спасительное – не сейчас, потом, когда-нибудь. ПОТОМ, КОГДА-НИБУДЬ, НЕ СЕЙЧАС. Мы же сами как-то узнали, что мы евреи.

– Мы же сами как-то узнали, что мы евреи, – примирительно произнесла Фаина.

– Ага, узнали! – закричал Илья. – Во время дела врачей мама сказала, что евреев вышлют из Ленинграда, и заплакала. Мне было пятнадцать лет, и я хотел убить Сталина за то, что мама плачет, – вы этого хотите?!

– Илюшка, мы не хотим, чтобы ты убил Сталина. Сталин мертв, – заметила Фаина, – но у нас больше нет антисемитизма. Посмотри на нас четверых через пять – десять лет, Фирка будет директором школы, мы с тобой кандидатами наук, завлабораториями или завотделами,

Эмка... ну, про Эмку нечего и говорить... У нас теперь каждому – по труду, независимо от национальности.

– Ты все-таки потрясающая идиотка! – с нежным восхищением сказал Илья. – При чем здесь вообще труд?! Скажи Тане, если кто-нибудь назовет ее жидовкой, пусть она отвечает: «Я не жидовка, у меня мама кандидат наук, а папа профессор».

Лева и Таня давно уже удалились за шкаф, сидели на Левиной кровати, как птицы на жердочке, как А и Б сидели на трубе, – рядком, и старательно подслушивали.

– Лева! Они ссорятся? – спросила Таня.

– Не ссорятся, просто переживают, – авторитетно сказал Лева, – просто переживают, что мы с тобой евреи, а они нет.

– Неинтеллигентно выделять себя из окружающих, – убежденно произнесла Фаина.

– А что интеллигентно – чтобы дети не знали своей национальности? – звенящим от обиды голосом спросил Илья.

– Разговор окончен, – сказала Фира.

Все они были интеллигентные люди, что составляло содержание их жизни – БДТ, «Новый мир», диссертации, – просто у Фиры не плохой, нет, властный характер.

– Профессор, пойдём покурим, – поманил Илья.

Они вышли на лестничную площадку, уселись на подоконник рядом с полной окурков консервной банкой.

– Мне одну книжку дали на неделю, – Илья наклонился к Кутельману, прошептал: – «Камасутра»... Картинки не пропечатались, но текст разобрать можно. Оказывается, существует восемь способов заниматься любовью и 64 позы. Там все подробно описано – и сила, и темп... Вчера Мария Моисеевна полночи на кухне с соседкой просидела, а мы с Фиркой книжку изучали.

Кутельман поморщился – пошлость Ильи его оскорбляла.

– Я как раз об этом и хотел поговорить.

Илья комически поднял брови:

– Профессор, в своем ли вы уме? Эмка, ты – ты! – об этом?

Об ЭТОМ Кутельман ни с кем не говорил, никогда не вел циничных мужских разговоров «о бабах», считал, что избыточная сексуальность от безделья. Как и его писатель: «Когда будет совсем невтерпеж, иди колоть дрова родителям, это отобьет от жеребятины!» Если бы ему и захотелось об ЭТОМ – не с Ильей же говорить о любви, рядом с Ильей можно только слаще чувствовать свое одиночество. ... Может быть, он вообще предпочел бы иметь других близких друзей, но – Фира. В Фире столько силы, столько страсти, она жизнь кусает, как пирог, и только он понимает, что ее кусок пирога часто бывает черствым.

Смущаясь и глядя в сторону, Кутельман сказал:

– Ты меня не так понял... У меня к тебе просьба. Или... не знаю, как сказать. Я только хотел спросить. В общем, у нас...

Илья недоумевающе смотрел на него:

– Эмка, чего ты мнешься? Все, что нужно, любая помощь! Я все сделаю. ... Деньги? Если надо, я достану... Или... Ты влюбился и хочешь развестись... Да нет, конечно, нет, что я говорю... Эмка! Ты что, заболел?!

– Нет. Это серьезный разговор. Или нет, как раз совсем не такой серьезный, как принято считать...

Кутельман краснел, мялся, не мог посмотреть Илье в глаза и наконец, отвернувшись от него, начал:

– Илюша... Вас в одной комнате четверо. Комната, конечно, большая, но вам с Фирой... или Левке отдельную комнату.

Серьезный-несерьезный разговор был о Фаиной комнате, той, что после смерти Фаиной матери стояла пустой.

– Ты же знаешь, Фаина до сих пор прописана в этой комнате, а теперь она может прописаться ко мне, – нашелся человек, который может помочь с Фаиной комнатой, – объяснил Кутельман.

– Ну и что? – не понимал Илья. – Эмка, от меня-то что надо? Да не волнуйся ты так, я все сделаю.

Кутельман объяснил – комнату отдать Фире. К тому времени как Кутельман выговорил «отдать», он вспотел, побледнел, покраснел – как трудно сказать человеку, что предлагаешь помощь, чтобы он не обиделся.

– Фаинке комната не нужна, нам эта комната не нужна... Это возможно – оформить ее на вас с Фирой, этот человек говорит, нужно просто совместить выписку Фаины и ваше заявление, а дальше он поможет. Ты только, пожалуйста, не думай, что я свысока, от щедрот и так далее... Эта комната нам не нужна, совершенно не нужна, – заторопился Эмка, в глазах ужас, что Илья сейчас начнет благодарить.

– Комната не нужна? Да ты не советский человек! Настоящему советскому человеку не может быть не нужна комната. Комната – это жилплощадь, – значительно подняв палец, сказал Илья и рассмеялся: – Ну я шучу, шучу... И я благодарен.

Кутельман облегченно вздохнул, гордый тем, как он ловко провел этот щекотливый разговор. И попытался представить – а будь он на его месте, он бы принял? Фира с Фаиной как сестры, когда Фаина мама умирала, Фира помогала, когда Лева родился, помогала Фаина, – не сосчитать, кто кому что... Нет, не принял бы, – ответил себе Кутельман, – без объяснений, просто не принял, и все. И что-то его кольнуло – восхищение, зависть, – как быстро Илюшка согласился, и без всяких кривляний, с какой завидной легкостью он умеет принимать.

– Эмка, а книжку-то тебе дать? – подмигнул Илья.

Кутельман сделал независимую гримасу – не нужна мне твоя книга, и подумал: их, таких разных, жизнь свела в такой близкой дружбе, для чего? Ну... для чего-то свела. Может быть, ДЛЯ ЛЕВЫ.

– Слушай, сегодня все-таки первое сентября, а мы про детей совсем забыли... – сказал Кутельман. – Давай-ка мы с Левкой на дорожку решим задачу.

Они вернулись в комнату и минут десять упоенно решали слевой задачу – по очереди ставили ладьи на шахматную доску так, чтобы они не били друг друга, проигрывает тот, кто не может сделать хода, а Таня кружила вокруг, мечтала выпроситься гулять, кривлялась, украдкой приставила к Левиной голове рожки, за что получила от Фиры укоризненный взгляд, а от Фаины по рукам, но попроситься гулять не посмела.

...Обед в честь «первый раз в первый класс» закончился. В прихожей Фира, выбрав момент, когда Илья отвлекся на детей, тихо спросила Кутельмана – ну? Кутельман приложил руку к голове – есть, товарищ генерал.

– А я все вижу! – засмеялся Илья. – Фирка, ты о чем нукаешь? Смотри, Эмка, осторожней, когда Фира говорит «ну» таким тоном, остается только прыгнуть через палку!

– У них с Эммочкой какие-то свои тайные делишки, – торопливо вступила Фаина, от неожиданности, от опасения выдать Фиру, употребив несвойственное для себя неинтеллигентное слово «делишки».

Кое-что, конечно, может показаться странным. Почему обед в честь обоих детей, как и вообще все важные для обеих семей даты, отмечали у Фиры, в коммуналке, а не в огромной квартире Кутельманов в соседнем подъезде? Почему от соленого и острого Эмку отучает Фира, а не его собственная жена? Почему все трое, Фира с Фаиной и Кутельман, были уверены, что Фире удастся заставить Илью пойти в аспирантуру к Кутельману в университет на матмех, Илья ведь в сложном математическом аппарате ни ухом ни рылом.

А почему никто не подумал: нужно ли Илье в придачу к аспирантуре получить секретность? И что меньше всего ему нужен научный руководитель – друг семьи, ведь в этом кроется столько подводных камней, столько болезненного для самолюбия?

Ответ на все эти вопросы один – Фира умеет двигать людьми и событиями, вообще РАСПОРЯЖАТЬСЯ. Она, как серый кардинал, добивается своего исподтишка, а Кутельманы очень дорожат дружбой, и поэтому как Фира захочет, так и будет.

Но все же у дружбы есть предел. Кутельман согласился взять к себе совершенно бесполезного для него Илью – фактически это означало самому написать Илье диссертацию.

...Ну и что? Для Фиры он был готов написать десять диссертаций!

Доктор физико-математических наук Кутельман был влюблен.

Странно было любить Фиру, такую красивую, такую земную, романтической любовью, но Кутельман любил ее без желания обладать. Влюбленность была его ЛИЧНОЕ дело и не означала измены и уж тем более пошлой практичности разрешения ситуации – развода, попытки увести Фиру от Ильи, завести другую семью, оставить дочь и Леву без отцов, – просто маленький смысл жизни, чтобы было о чем подумать перед сном.

У своего писателя он прочитал: «Я люблю... Я не дотронусь до нее. Ни губы, ни груди мне не нужны. Я хочу поцеловать ее душу». Душу! Его героя не удовлетворяет чувственная любовь, потому что она забирает энергию, отнимает силы, предназначенные для штурма мироздания. Нужно «подавить в своей крови древние горячие голоса страсти, освободить себя и родить в себе новую душу – пламенную победившую мысль. Пусть не женщина – пол с своею красотою-обманом, а мысль будет невестою человеку. Ее целомудрие не разрушит наша любовь». Целомудрие, подавление пола и освобождение духа было совершенно созвучно Кутельману. И еще его влюбленность естественным образом включала в себя Леву.

Бывает ранняя одаренность, не приводящая ни к чему, но Лева, очевидно, не тот случай, он по-прежнему в центре и по-прежнему гений. Лева в этой общей семье блестящий ребенок, а Таня обычный ребенок.

Но из Таниного детского дневника понятно, что общая сосредоточенность на Лева не привела Таню к печальным мыслям, что ее мало любят. Нормальная веселая девочка, не ревнует, не обижается, ей в этой дружеской компании всего хватает: и внимания, и любви, и котлет. К тому же Фаина ей все правильно объяснила: Леву не БОЛЬШЕ ЛЮБЯТ, а Лева ОТДАЮТ ДОЛЖНОЕ.

## Дневник Тани, 2009 год

Вчера позвонили из студии ABC.

А если бы мне и правда позвонили из ABC Studios? Disney-ABC Television Group, ABC Studios – Ugly Betty, Ghost Whisperer, Lost (мне больше нравится, чем наше название «Остаться в живых»), мои любимые Desperate Housewives («Отчаянные домохозяйки» неправильный перевод!).

На самом деле ABC – это небольшая студия, снимает для первого канала. Сказали: «Мы хотим ретро, 70-е годы».

А сегодня позвонили из студии «Регтайм». Студия «Регтайм» снимает для РТР. И тоже так расплывчато: «Про городскую интеллигенцию, 70-е годы...»

Я нужна им для ретро 70-х, потому что я уже делала сериал про сельскую жизнь. Я ничего не знаю про сельскую жизнь 70-х, но правдоподобности и не требовалось: сельская учительница приезжает в Москву, и понеслось... ее соблазняет сын начальника, она беременная возвращается в деревню, на ней женится тракторист, приезжает сын начальника... Стыдно, конечно.

Но не очень.

Стыдно, когда знакомые спрашивают – почему ТАКОЕ сейчас снимают? И смотрят с выражением – чего это ты такую туфту лепишь, деньги, что ли, большие платят?

А перед коллегами не стыдно, наоборот, – все знают, что платят прилично, и рейтинг был высокий, и сериал бесконечно крутят по кабельным каналам, на одном канале закончился, на другом начинается.

... Действительно, уже есть много ретро про доярок, а городского интеллигентного ретро не было.

Вот так – то совсем ничего нет, то вдруг я нужна двум каналам сразу.

Что мне нравится в профессии – что ВДРУГ позвонят.

Интеллигентное ретро – чего это они? На фига им городская интеллигенция?.. Ведь сериал – это дорого, и обычно никто не хочет рисковать, ни телена начальники, ни продюсеры. Поэтому главный аргумент – соответствие формату, то есть ориентируемся на аудиторию. А у нас основная аудитория – пенсионеры и провинциальные домохозяйки.

Наверное, начали говорить про какой-нибудь интересный проект, прикинули бюджет – и подумали: ужас как дорого, а интеллигентное городское ретро недорого. Что там снимать – квартира, НИИ и... и все.

Может быть, теперь новое веяние – чтобы было не стыдно? А вдруг они подумали, что считать публику глупой – неправильно? У сериалов про доярок сумасшедшие рейтинги, – но вдруг они подумали, что за сериалы про доярок стыдно? Что наши культовые герои, наше все, Надя и Женя, все-таки имеют высшее образование, они столичные люди, учительница и врач, а не доярка и дояр. И можно так снять, чтобы угодить всем, и основной аудитории, и среднему классу?

Напишу заявку – прямо сейчас сяду и напишу.

Восемь серий, жанр мелодрама, аудитория – женская...

Почему только женская?

Это, конечно, должна быть семья, с тремя поколениями.

Или лучше несколько дружественных семей, и между ними романы, измены, – ну, как обычно...

А мне скажут – фу, опять семейный сериал...

Но все лучшие сериалы – семейные!

Студентов-сценаристов учат – нужно придумать сеттинг, мир героев истории, ограниченный временем, местом и действием. Сеттинг «Секса в большом городе» – Нью-Йорк, тусовка. Сеттинг «Доктора Хауса» – клиника, смены врачей. Сеттинг сериала «интеллигентное ретро» – НИИ, или больница, или школа, или двор, какой-нибудь свой мир. Но это все равно семейные сериалы. Не обязательно семья – это родственники, это могут быть друзья или люди, которые очень близко и увлеченно вместе работают.

Сеттинг сериала про то, как олигарх влюбляется в доярку, – космос или потусторонняя жизнь, потому что никто не озаботился придумать такой мир, где доярки встречают олигархов. Как будто наш зритель не достоин любви и уважения.

Конечно, придумать такой мир, как в «Докторе Хаусе», – это слишком сложное задание для студентов, – и для меня. Мне нужно придумать место, в котором встречаются герои интеллигентного ретро, и решить, зачем они в это место раз за разом приходят. Это самое сложное – зачем.

Школа, больница?..

Нет.

Пусть лучше будет НИИ, лаборатория какая-нибудь.

И на хрена они раз за разом туда приходят, в этот НИИ? За зарплатой 120 рублей? Пообщаться, в шахматы поиграть, завести роман?

Они должны ЗА ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ приходить, а не тухнуть там.

Любовная драма. Драма в НИИ, в рабочее время, с понедельника по пятницу...

Сериал можно назвать «Понедельник во вторник» – интригует и отсылает к Стругацким. Любовная драма!

Но одно дело – сериал про сельскую учительницу. Мне было легко придумать сериалище: поехала в город на елку, забеременела, вернулась в деревню... и т. д. Тракторист – сын начальника, один бьет, другой пьет... Любовная драма.

А какая в этой лаборатории может быть любовная драма? У технической интеллигенции семидесятых? Я не имею в виду, что они не влюблялись, но ДЕЙСТВИЯ в их жизни почти не было.

Они не уходили из семьи, не разводились.

Из родительских знакомых всего одна пара развелась, и это было событие века!.. Все волновались, переживали, по очереди ходили их уговаривать, сидели по кухням, обсуждали, как спасти их семью. Один мой одноклассник эмигрировал в Америку, ушел от своей жены к стокилограммовому негру, – и было меньше шума! Никто не обсуждал, как сохранить их семью, удивились немного – надо же, он, оказывается, голубой. И все. Он потом к жене вернулся, и тоже всем, в общем-то, безразлично, – это их дело.

Интересно, на сколько серий им нужен сериал? Думаю, на восемь серий.

Восемь серий. Четыре тысячи за серию. Серий восемь. Тысяч тридцать две.

Нужно скорей заявку написать – они же не только мне позвонили, а всем авторам, с которыми уже работали.

Или не нужно?.. У меня уже был неприятный опыт со студией АВС. Они сказали: «Нам бы хотелось сериал про девушку, которая ищет свою любовь по знакам зодиака...»

Я написала заявку, синопсис.

Продюсеру понравилось, он сказал: «Пилите, Шура, пилите, фантазируйте». Мы заключили договор, и я получила 10 процентов гонорара. Написала поэпизодный план (ненавижу слово «эпизодник» так же, как «пробник» и «ценник»).

Все пишут эпизодный план как положено – только суть эпизодов, без диалогов:

1. Героиня, одинокая интеллигентная замарашка, видит на кухне мышку. Вызывает «человека от мышей».

2. Звонок в дверь. Приходит импозантный господин, он пришел покупать квартиру и перепутал этаж. Но героиня считает, что это «человек от мышей», и говорит, имея в виду мышку: «Она у меня совсем маленькая». Господин сердится: «Вы слишком много за нее хотите!»

3. Недоразумение выясняется.

Но я увлеклась и написала с диалогами. Было интересно создать мужские типажи и ситуации, в которых все знаки зодиака ярко проявляются. Получился почти готовый сценарий. Героиня восемь серий искала свою любовь, как они хотели. А я стала ковриком, о который все вытерли ноги. Продюсер сказал: «Не-а, это не наш формат».

Ненавижу слово «формат»! Формат продюсера, канала, неважно чей, – ясно, что не мой.

В советской жизни не было слова «формат». Была цензура. Когда говорили «цензура это не пропустит», все понимали почему. А сейчас говорят «это не наш формат», и никто точно не понимает, почему не наш, и какой он, наш формат.

Формат хуже цензуры.

Цензура – это когда хочешь сказать что-то важное, но можно сказать не все, кое-что нельзя. Но можно пытаться, чтобы тебя как-то поняли в твоих художественных рамках!

А формат – это когда ВСЕ определено, и художественные рамки как тюрьма, шаг вправо, шаг влево – нет, не расстреляют, просто не примут сценарий. Скажут – не-а, не наш формат.

Сначала продюсер сказал:

– Не-а, это не наш формат.

Потом редактор задумчиво сказала:

– Мы не совсем этого хотели... Мы совсем не этого хотели... Все не так!..

– А как? – спросила я, стараясь сохранить достоинство.

– Ну, не зна-аю...

Еще редактор сказала, что у меня получились слишком умные диалоги.

Умные, да! Моя героиня была аспирантка филфака, занималась Серебряным веком, Бальмонтом.

Редактор сказала: «Наша аудитория – менеджеры среднего звена, пусть героиня будет менеджером кредитного отдела».

Вот это – формат. А если бы была цензура, редактор бы сказала: «Пусть героиня занимается не Бальмонтом, а... Михалковым, дядю Степу изучает». И я бы могла еще что-то спасти, – прелестный характер героини и т. д.

Мой личный профессионализм – в рамках их формата достичь хоть какого-нибудь, хоть крошечного художественного результата. Это даже интересно, как будто пытаешься выжить в условиях вечной мерзлоты. Но в данном случае это было невозможно – одно дело Бальмонт, и совсем другое – кредитный отдел! Сумасшедшая романтическая филфаковка и менеджер в банке – разные типы личности и по-разному ищут любовь.

Ну, а потом они все не звонили и не звонили. Я ждала, как в песне «Позвони мне, позвони, позвони мне ради бога...», – а не звонят. А когда я сама позвонила, продюсер сказал: «Мы не будем этого делать».

Но облом лучше, чем ожидание. Мое настроение изменилось с «бе-е» на «ну и черт с вами!».

Вот только деньги.

Получается, мне заплатили 10 процентов за почти готовый сценарий. Глупо вышло, но я не виновата. Можно было бы потребовать аванс 25 процентов, но тогда бы меня не взяли. Если бы это была моя идея про девушку, которая ищет любовь по знакам зодиака, я могла бы диктовать условия. А это была их идея. И их формат.

### ДОЛОЙ ФОРМАТ! ДАЕШЬ ЦЕНЗУРУ!

Мне нельзя говорить «Даешь цензуру», потому что я принадлежу к советской интеллигенции, которая настрадалась от цензуры, но вы же понимаете, что я шучу?

На самом деле просто ДОЛОЙ ФОРМАТ!

Что мне про них придумать?

А что было?

Вот мы – мои родители и Резники. Их жизнь – это и есть «интеллигентное ретро семидесятых».

На самом деле... ничего не происходило, НИЧЕГО! Толстые журналы, театры, защиты диссертаций... Они были первое поколение в нашей стране, у которого не было страшных потрясений, – войну они не застали, а когда опять все рухнуло, они уже были не молодые, им не нужно было в новой жизни выживать. Да, их мир взорвался – я имею в виду, что разрушилась советская жизнь, но на самом деле наоборот, их мир, мир интеллигентов, привыкших жить словом, расширился! Толстые журналы стали толще, театр – театральней, по телевизору – политические дебаты...

Может быть, мне кажется, что у них была такая бессобытийная, не драматичная жизнь, я все-таки смотрела на их жизнь со стороны, ребенком? Может быть, внутри их жизни кипели страсти?

Не думаю. Папа... мне кажется, что он всю жизнь любил тетю Фиру. Я почти уверена, что так и было, – ее невозможно не любить, когда она входила в комнату, как будто зажегся свет.

Любил, и что? Что было – роман, развод? НИЧЕГО, просто любил, а у них с мамой была прекрасная семья.

Самый большой в жизни успех – защита докторской диссертации, самое большое в жизни разочарование – ненаписанная кандидатская, единственный в жизни роман – неосуществленный, самое дерзкое сопротивление системе – рассказать сыну, что он еврей. Дядя Илюша зачитывал нам с Левой куски из запрещенной тогда «Истории евреев» Рота, а тетя Фира возмущалась – только евреев детям не хватало для полного счастья!

Как нас учили? Цепочка событий в фильме состоит из 30–50 событий, длина события 3–5 страниц сценария. Событие – это часть истории, где происходит видимое изменение жизненной ситуации. Но у них не было ВИДИМЫХ изменений! Дядя Илюша все куда-то рвался... Он, как Николай Ростов – Толстой его описывает словами «стремительность и восторженность», – создан для радости, для легкости бытия, а не для НИИ. Представляете Николая Ростова в НИИ? В Котлотурбинном институте ему было бы страшней, чем в Шенграбенском сражении... Дядя Илюша то увлекался историей евреев, то самиздат читал, то вдруг захотел уехать, – и что? Ничего. Жизнь была какая-то маленькая – работа-прописка-жилплощадь, на таком материале сериал не придумаешь – ничего не происходит, просто живут.

Трифонов, писатель городской интеллигенции, в сущности, певец жизни моих родителей, – какие у него события? Обмен квартиры, вялый роман с сослуживицей, а хоть бы и не начинался, в командировку нужно ехать, болеет мать... Никакой драматургии, а жизнь как на ладони. Трифонов все про них написал, и больше ничего нет.

Я... выглядит так, будто я считаю их жизнь скучной. Нет. У каждой жизни есть приметы времени. Примета их времени – то, что ничего не происходит.

Только что позвонил редактор из студии АВС. Сказал: «Хорошо бы про диссидентов в психушках и другие ужасы эпохи застоя, когда нельзя было говорить то, что думаешь». Редактору лет тридцать.

Получается, что опять нельзя говорить то, что думаешь! Если не показать «ужасы застоя», обвинят в том, что я идеализирую брежневский застой, что мне в том времени тепло, сытно, уютно, что мне нравятся диссиденты в психушках, антисемитизм и я есть предатель идеалов демократии. Но мои родители и Резники были не диссиденты, они были – профессор матмеха, начальник отдела, инженер и завуч в моей школе, и в их жизни не было «ужасов»... Были – рамки, и если они держались в этих рамках, то с ними обращались по правилам. ...В конце концов, я же не претендую на ПОСЛЕДНЮЮ правду, у каждого своя правда.

У них были не события, а разговоры. Атмосфера.

Нет у меня для них событий на сериал!

Мои родители и Резники не бросали все, не становились миллионерами, не разорялись, не получали наследство из-за границы, у них на глазах не расстреливали друзей... Чего еще у них не было? У них не появлялись из небытия неведомые отцы.

В общем, так. Если они хотят интеллигентное ретро всерьез, так лучше снять полный метр по Трифонову. А не сериал.

## 1977 год Жизнь как многосерийный телефильм

– Это просто какой-то многосерийный телефильм! «Тени исчезают в полдень», понимаешь... или, как там его... «Вечный зов»! Не было, не было, и вдруг – здравствуйте, я ваша тетя! Ты что думаешь, что я, в моем положении!.. Я номенклатурный работник, первый секретарь Петроградского райкома! Я... ты понимаешь, что есть мнение рассмотреть мою кандидатуру, – Андрей Петрович понизил голос, – на зампреда горисполкома?..

Андрей Петрович неопределенно взглянул за окно, потом на потолок и прошептал:

– Ты понимаешь, что за мной ведется наблюдение? Ты соображаешь, Чья она дочь? Это же просто... ирония судьбы!

Тринадцатого января в Старый новый год по телевизору всегда показывали «Зигзаг удачи», а в этом году показывали «Иронию судьбы». Премьера фильма была в прошлом году, семьдесят шестом. Теперь этот фильм будут повторять каждый год в новогодние праздники.

– *Послушайте, ну вы хоть что-нибудь понимаете?* – сказала *Надя*.

– *Все, безусловно...* – ответил *Женя*.

– *Где вы находитесь, по-вашему?..*

– *Я у себя дома нахожусь, Третья улица Строителей, дом двадцать пять...* – сказал *Женя*.

– *Нет, это я живу Третья улица Строителей, дом двадцать пять, квартира двенадцать...* – сказала *Надя*.

Андрей Петрович одобрительно хмыкнул:

– Нам нужно именно такое искусство, которое... которое...

– ... которое объединяет людей, рождает общенародные традиции, – помогла *Ольга Алексеевна*.

– Прямо в точку, – похвалил Андрей Петрович.

Андрей Петрович и *Ольга Алексеевна* лежали в постели – они всегда засыпали под телевизор, иногда *Ольга Алексеевна* в полусне вставала выключала, а иногда ночью просыпалась, и перед ней мерцала картинка.

В квартире было два телевизора, что поражало всех пришедших в гости, всех «номенклатурных» гостей, – два телевизора! В гостиной «Сони», в спальне маленький «Панасоник». «Не потому что мы, как какие-нибудь торговые работники, ни в чем не знаем меры, – объясняла *Ольга Алексеевна*. – В гостиной положено иметь телевизор для всей семьи, а в спальне телевизор, потому что Андрею Петровичу нужно быть в курсе последних новостей, как только он проснется».

*Ольга Алексеевна* никогда за глаза не называла мужа «Андрей» или «Андрюша», только «Андрей Петрович». И он никогда не говорил о жене «Оля», только «*Ольга Алексеевна*» или «*моя супруга Ольга Алексеевна*». Гости, что бывали в доме, услышав, как супруги обращаются друг к другу за праздничным столом: «*Ольга Алексеевна, подавай чай*» или «*Андрей Петрович, помоги мне принести горячее*», – удивлялись, что это, партийная привычка, особое почтение друг к другу, а может быть, в их положении принято так официально?

Никто и представить себе не мог, какая сочилась сладость, когда в доме не было чужих. Наедине и при дочках они обращались друг к другу «*Андрюшонок*» и «*Олюшонок*», а девочки называли их «*мусик*» и «*пусик*». «*Мама*» и «*папа*» никогда не звучали в доме, только «*мусик*» и «*пусик*» или «*мусечка*» и «*пусечка*».

Андрей Петрович ворочался, пристраивая живот, раздраженно отгоняя ежевечернюю мысль «надо бы начать делать зарядку» и тут же заменяя ее на другую, спасительную мысль «надо было брать югославский гарнитур, там кровать шире».

– Ох, пожалуйста, Андрюшонок, не переживай, помни о своем сердце... Мы ведь уже все решили... – Ольга Алексеевна закрыла глаза.

– *Почему вы переставили мой шкаф?* – спросил Женя.

– *Как его внесли, так он и стоит...* – едко ответила Надя.

– *Это мой гарнитур... это польский гарнитур... восемьсот тридцать рублей...* – промямлил Женя.

– *И двадцать сверху,* – заметила Надя.

– *Я дал двадцать пять...* – растерянно сказал Женя.

– Взять в дом ЕГО дочь... об этом не может быть и речи, – повторил Андрей Петрович и нелогично добавил: – Сейчас не сталинские времена, дети за отцов не отвечают.

– Да, безусловно, – подтвердила Ольга Алексеевна. Отметила, что он не сказал «ее дочь», и, не открывая глаз, лекторским голосом произнесла: – Фраза «сейчас не сталинские времена» – весьма распространенная ошибка. Именно Сталин в тридцать пятом году... первого декабря на встрече передовых комбайнеров с партийным руководством сказал: «Сын за отца не отвечает». Там один молодой комбайнер сказал: «Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян». Сталин ответил: «Сын за отца не отвечает». Между прочим, в марте тридцатого года постановлением ЦИК были восстановлены в избирательных правах дети бывших дворян, а в марте тридцать третьего года дети кулаков, если они в этот момент занимались самостоятельным общественно полезным трудом. А ты говоришь... Но, Андрюшонок, ты, конечно, прав, потом эта официальная установка не всегда соблюдалась на практике.

Ольга Алексеевна была доцентом на кафедре марксизма-ленинизма в Технологическом институте, читала историю КПСС и научный коммунизм, при необходимости могла заменить преподавателей политэкономии. Среди студентов она была известна особенной, холодной придирчивостью на экзамене по истории КПСС: спрашивает, слушает и вдруг возвращает зачетку – «придете, когда выучите». Особенно строго Ольга Алексеевна гоняла по съездам. Она любила съезды, не раз перечитывала красное третье собрание сочинений Ленина с комментариями, – чаще всего перечитывала комментарии, подлинные документы разных оппозиций, с фамилиями под документами. От отца у нее сохранились папки со стенограммами всех, начиная с XIV, съездов партии и некоторых судебных процессов, это было для нее самым увлекательным чтением, которое она позволяла себе лишь изредка, когда хотела расслабиться. Ольга Алексеевна требовала, чтобы студенты знали съезды наизусть, какие вопросы на каком обсуждались, кто входил в оппозицию, и к ней приходили пересдавать «историю партии» по пять раз. Но все знали, что у мучений есть конец, – на пятый раз она говорила: «Ну, хорошо, тройку вы заработали».

– Взять в дом чужого подростка с дурной наследственностью?! Она может оказать плохое влияние на наших девочек, – сказал Андрей Петрович. И значительно добавил: – У нас девочки. Дочки. Алена и Ариша.

– Спасибо, что напомнил, – усмехнулась Ольга Алексеевна.

Они лежали рядом, как сардины в банке: он на спине, и она на спине, на нем желтая пижама, на ней желтая ночная рубашка, оба с закрытыми глазами, и у обоих одеяло натянуто до плеч. На голове у Ольги Алексеевны цветастый чепчик с оборкой, из-под чепчика видны бигуди, и одно большое бигуди на весь лоб, чтобы можно было зачесать прядь наверх.

Ольга Алексеевна и Андрей Петрович были немного несоразмерная пара, не то чтобы красавица и чудовище – Андрей Петрович был вполне привлекательным. Коренастый, ладный, мужичок-боровичок с твердым пивным животом, слегка одутловатым от проблем с почками лицом и тяжелым взглядом, – как говорила уборщица в райкоме, «серьезный мужчина». Но немного нашлось бы мужчин под стать Ольге Алексеевне.

Ольга Алексеевна была на редкость качественная женщина. Рост, разворот плеч, нестандартной длины и красоты ноги, широкие стройные бедра, наводящие на мысли о сексе... нет, не о сексе, а о брачных половых отношениях и обязательно следующих за ними родах.

«У моей Ольги Алексеевны на талии ни жиринки, грудь-бедра как у девушки... У нее еще кое-что как у девушки, как будто она не рожала близнецов», – однажды, подвыпив на 7 Ноября, похвастался Андрей Петрович в мужской компании. Но когда первый секретарь Василеостровского райкома попытался на трезвую голову ему эти откровения напомнить, Андрей Петрович налил краской и заревел совершенно по-медвежьему: «Ты о курвах своих говори, а про Ольгу Алексеевну не смей!..» Но затем, придя в себя, – все же первый секретарь, человек равный ему по партийной линии, смягчил: «Ольга Алексеевна – это, понимаешь ты, святое». Первый секретарь Василеостровского райкома пожал плечами, – как скажешь, святое так святое.

Но что-то помешало ему представить, что в Ольгу Алексеевну можно безоглядно влюбиться, можно страдать, умолять. Она вовсе не партийная мымра, любит красиво одеться, на ней всегда хорошая обувь, но... Ольга Алексеевна как квартира в новом доме – все удобно, продуманно, ни одного кривого коридорчика, нелепого угла, но они-то и придают жилью обаяние и индивидуальность. На тонкий вкус, Ольга Алексеевна – женщина из толпы, ее лицо с правильными, но неопределенными чертами пресновато, и только одна черта помогает ей не слиться с толпой – темные, резко очерченные брови при очень светлых волосах. В общем, любоваться длинноногой Ольгой Алексеевной как статуей, как «девушкой с веслом» – да, а влюбиться, умолять – почему-то нет.

Очевидно, первый секретарь Василеостровского райкома был прав. За годы замужества никто не проявил к Ольге Алексеевне интереса. Конечно, Ольга Алексеевна была безупречно верной женой, с которой не пройдет даже легкий флирт, но все же почему – никто, никогда?

– У нас девочки, Алена и Ариша... – повторил Андрей Петрович и растроганно улыбнулся, как всегда улыбался, произнося «Алена и Ариша», и Ольга Алексеевна растроганно улыбнулась, будто оба услышали волшебную музыку.

Одиннадцать лет Андрей Петрович каждый день замирал в восхищении, глядя на своих близнецов. Девочки-близнецы, не двойняшки, а близнецы, были нисколько друг на друга не похожи, и обе прелестны, обе произведения искусства. Причудливая игра заблудившихся генов – его деревенская коренастость и безупречность Ольги Алексеевны объединились, и получились красавицы, статуэтки золотоволосые. Алена – улучшенная версия матери, ярче, плакатней, черные брови, золотые кудри, Ариша – прозрачная, с тонким личиком, чертами не похожа ни на мать, ни на отца, откуда-то в ней взялась эта ленинградская прозрачность, петербургская тонкость, как будто родилась не от своих родителей, а от Петербурга.

Андрей Петрович представил своих красотошек, солнышек, зайчек, ласточек и заурчал от нежности, как довольный кот. У Алены вырезанные сердечком яркие губы, ярко-белые зубки. В Ленинграде белоснежные зубы редкость, у Ольги Алексеевны, ленинградской девочки, желтоватая эмаль, а у него белые, не поддающиеся никотину зубы, и Алена в него. Говорят, что Алена похожа на Мэрилин Монро... Видел он фильм с Мэрилин Монро, где мужики в теток переодеваются. Фильм глупый, а сама Мэрилин Монро хоть и красивая тетка, но какое может быть сравнение с Аленой! У Монро этой только глазки-губки-кудри, а Алена – огонь, у Алены – характер. ...А фигура у нее в одиннадцать лет как у взрослой, скоро уже месячные пойдут... Ну, это не его епархия, тут пусть Олюшонок руководит.

У Алены фигура, у Ариши фигурка... Водитель его – он в искусстве разбирается, – сказал, что Ариша – вылитая головка Буше. Смешно – Буше, фамилия как пирожное из «Севера». Посмотрел он на этого Буше, специально в Эрмитаже побывал и альбом в киоске приобрел... Ну что сказать?.. Не знает он никакого Буше и знать не хочет, он сам видит: девчонки все на

одно лицо, а у Ариши – душа, Ариша единственная. Водитель – может, он и правда в искусстве разбирается, – но какое может быть сравнение!

Ариша – нежная травинка, как будто тень яркой Алены. Но если внимательней посмотреть, то неизвестно, кто лучше, Алена, красота неопишуемая, или Ариша, нежность невыносимая. Только вот характер у Ариши подкачал, совсем не бойцовский характер. Ну, рядом с Аленой она не пропадет.

– *Это мой дом, я тут прописан...* – настаивал Женя.

– *Ваш дом?! – возмутилась Надя.*

– *Да, мой! Не ваш, а мой! И мамин. Я вам паспорт покажу.*

– *Пьяница!* – закричала Надя.

– *Хулиганка!* – отозвался Женя.

Ольга Алексеевна лежала неподвижно, двигалась только рука, только рука рефлекторно сжимала и разжимала край простыни, будто эспандер.

– Ты думаешь, я хочу взять в дом чужого подростка с дурной наследственностью? – иронически улыбнулась Ольга Алексеевна.

Три дня Андрей Петрович и Ольга Алексеевна говорили об одном, молчали об одном, – девочку взять невозможно. И все уже было переговорено, но они все повторяли и повторяли одно и то же, приводили друг другу все те же аргументы – почему именно невозможно, и советовали на судьбу, устроившую им такую злую каверзу.

Вечером восьмого января Андрей Петрович Смирнов получил телефонограмму: в 17:33 по московскому времени в Москве в поезде метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» прогремел взрыв, в результате чего семь человек погибли и еще тридцать семь получили ранения различной степени тяжести.

Поврежденный состав отбуксировали на станцию «Первомайская», которая была закрыта для пассажиров, в газетах сведений о теракте не было, по телевизору тем более ничего не сказали, – ни к чему волновать народ.

– Информация о теракте не просочилась, в Москве, может, и ходят слухи, но в Ленинграде о теракте, кроме партийного руководства, никто не знает, – сказал Смирнов жене. – Так что ты смотри, если что услышишь, говори, что ты в курсе и ничего такого не было.

– Ну, конечно, я знаю. Но, Андрюшонок, как у нас может быть теракт?.. У нас!.. Неужели у нас такое возможно? Чтобы в метро поезда взрывали?.. – недоуменно повторяла Ольга Алексеевна. – И как теперь ездить в метро?

– У нас не может быть никаких терактов, – в который раз объяснил Андрей Петрович, – это трагическая случайность. Я тебе авторитетно говорю как коммунист – больше такое не повторится никогда. Это первый теракт в московском метро и последний. А насчет ездить в метро – успокойся, это Москва, к нам этот взрыв не имеет никакого отношения!

Восьмого января прогремел взрыв, а через два дня Ольге Алексеевне позвонила незнакомая женщина, – и оказалось, что взрыв **ИМЕЕТ К НИМ ОТНОШЕНИЕ**.

«Нет, ну какого черта ее туда понесло! В Москву, на станцию “Первомайская!”» – повторял Андрей Петрович. «Какое это теперь имеет значение?» – терпеливо отвечала Ольга Алексеевна, стараясь не показывать свой ужас, не лить масло в огонь.

Во время взрыва семь человек погибли и еще тридцать семь получили ранения различной степени тяжести. Среди получивших ранения «различной степени тяжести» была сестра Ольги Алексеевны, нежно любимая Катька, – когда-то нежно любимая. Катька скончалась в больнице, и это немного снижало пафос – «скончалась в больнице» было больше похоже на просто умереть, чем погибнуть при взрыве.

Катьки уже так давно не было в их жизни, что сейчас, когда она совсем перестала быть, ее смерть не ощущалась ни как горе – никакого горя она не заслужила! – ни как даже просто

изменение ситуации. Только как недоумение и обида – за что им такая напасть – чужой подросток с дурной наследственностью?!

Чужой подросток с дурной наследственностью была Катькина одиннадцатилетняя дочь Нина Кулакова, родная племянница Ольги Алексеевны.

Позвонившая Ольге Алексеевне незнакомая женщина представилась просто соседкой, без имени. Соседка собирала одежду для похорон и в книге «Как закалялась сталь» обнаружила старый конверт с ленинградским адресом, надписанный Катькиной рукой, – Катька, очевидно, раздумала отправлять письмо. Соседка по справке – не поленилась – нашла ленинградский телефон.

– Ничего, что я звоню? – споткнувшись в своей скороговорке о молчании Ольги Алексеевны, робко спросила соседка.

– Ничего. Я понимаю, – мертвым голосом сказала Ольга Алексеевна.

– Да, конечно, вы понимаете... Дочка, Нина, – заторопилась соседка, – сейчас решается вопрос, куда девать Нину, в детдом или родственники возьмут... Вот я и позвонила... просто на всякий случай, для очистки совести...

Решается вопрос, вот она и позвонила...

– Я Нине-то не сказала, что с вами связываюсь, – предупредила соседка, – чтобы у девки обиды не было, если не возьмете. Вы ведь ей не родственники... Катька говорила, у ней родных нет, так что не обязаны брать, можете решить, как хотите.

«Как хотите»!.. Грамотейка!.. Голос у соседки пьяноватый. «Вместе, наверное, пили с Катькой», – пронеслось в голове Ольги Алексеевны.

Ольга Алексеевна отодвинула трубку от уха, подержала на весу и положила на рычаг.

Отошла от телефона и осторожно прикрыла дверь в комнату, как будто пьяноватая Катькина соседка могла погнаться за ней с этими бьющими в голову «Катька, Нина, Катька, Нина». «Если еще позвонит, не возьму трубку», – решила Ольга Алексеевна...

Соседка не перезвонила.

...Андрей Петрович, побряхтев, повернулся на бок.

– Олюшонок... Олюшончек, а почему мы все время говорим «подросток»? Этой Нине одиннадцать лет, она как наши девочки. Аленушка еще ребенок, и Аришенька еще ребенок...

– Дети из неблагополучных семей рано взрослеют, – холодно заметила Ольга Алексеевна и тут же осеклась, – Катька, красавица, отличница, ее сестренка – НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ?.. Впрочем, в ней всегда была... не червоточинка, нет, а какая-то слабость. Катька от рождения не победительница в жизни, а побежденная. Не свяжись она с тем страшным типом, произошло бы что-то другое... Мысли Ольги Алексеевны бегали по кругу, метались, как зверюшки, попавшие в капкан, – а если конверт с ленинградским адресом попадет к этой девочке, Нине? И она решит им написать? Желающих занять место Андрея Петровича много, и куда это письмо попадет, неизвестно... Возможна любая случайность... И – выплывет наружу, ЧЬЯ она дочь!

– Ты правильно говоришь, – у девочки дурная наследственность, – кивнул Андрей Петрович. – Отец-то у нее кто!

– Ты прав, Андрюшонок.

– *Вы что, намекаете, что я в Ленинграде?! Как я мог оказаться в Ленинграде?.. Мы пошли в баню... Мы поехали на аэродром провожать Павлика, перед этим мы мылись... Это что же, я улетел вместо Павлика?! – в ужасе лопотал Женя.*

– *Не надо пить! – мстительно отозвалась Надя.*

Андрей Петрович рассеянно скользнул взглядом по экрану.

– А вдруг она начнет пить?.. У нее мать-алкоголичка. У нее вполне может быть наследственный алкоголизм. Наследственный алкоголизм – это очень серьезно. Ты знаешь, что женский алкоголизм неизлечим? ... Ты вообще понимаешь, что такое алкоголизм? – весомо сказал

Андрей Петрович. – ...Помнишь, как пил дядя Федя? А тетя Рая? Ты помнишь, как пила тетя Рая?

– Боюсь, что я не помню, как пил дядя Федя, – холодно отозвалась Ольга Алексеевна. – Уволь меня, пожалуйста, от воспоминаний о дяде Феде, тете Рае и иже с ними.

Андрей Петрович взглянул на нее нежно. Подвинулся, рукой нашел под одеялом подол ночной рубашки. Он больше всего любил в жене эту ее холодность, сдержанность. В его семье не глядели холодно, не намекали, не иронизировали, недовольство выражали ором, а то и – раз, и по башке. А Ольга Алексеевна была городская. Ее манеры – холодно посмотреть, намекнуть, уколоть, ее уколы, такие изящные, злые, не обижали, а подтверждали ее женскую ценность и его мужскую состоятельность, – она городская, и он ее ДОБИЛСЯ. То, что она его осчастливила, давно уже уравновесилось его положением, и оба всегда, каждую минуту помнили, какое он ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ, кто в доме главный, но, как у каждой слаженной пары, у супругов Смирновых была своя излюбленная игра, в которую они упоенно играли, – она городская, он деревенский.

И в такие моменты он всегда ее хотел.

Андрей Петрович продвинул руку дальше, другой рукой сильно сжал ее грудь.

– Ты что?.. – боязливо, почти неприязненно спросила Ольга Алексеевна.

Андрей Петрович резко раздвинул ее колени.

– Нет-нет, не надо... – слабым голосом испуганной новобрачной сказала Ольга Алексеевна.

На экране Женя наконец сообразил, что он находится в Ленинграде, Ольга Алексеевна сжала колени, выталкивая руку мужа.

– Не надо, пожалуйста, не надо...

– Надо, – грубовато ответил Андрей Петрович.

Ольга Алексеевна приоткрыла глаза – Надя и Женя продолжали ссориться.

«А какой была бы близость Жени и Нади? – подумала Ольга Алексеевна. – Наверное, сначала нежная, почти робкая, как постепенно раскачивающаяся лодка, потом все сильнее и сильнее. А какой была бы близость Нади с Ипполитом? С Ипполитом Наде было бы лучше, он решительней в постели...» – подумала Ольга Алексеевна и больше уже не думала ни о чем.

Ольга Алексеевна всегда откликалась мужу одинаково – как будто она холодная женщина. Он наступает, она уклоняется, он настаивает, она, стесняясь, снисходит к его неизящным притязаниям. И, наконец, он обрушивается, она сдается, – нехотя, как будто делая одолжение. Это тоже была игра – холодность Ольги Алексеевны была чистым притворством.

Ирония судьбы, вот где была настоящая ирония судьбы!.. Бесконечные тысячи женщин годами имитировали оргазм, притворялись, что мужья вызывают у них интерес, тоскливо выполняли супружеские обязанности, как в анекдоте, думая во время любви о том, как побелить потолок. А Ольге Алексеевне приходилось притворяться наоборот.

Ее женский механизм работал безотказно, заводился с полоборота и быстро приходил к бурному финалу, но ей каждый раз нужно было сыграть холодную женщину, не забыться, не показать своего желания, скрыть удовольствие и сдержаться в финале – выглядеть покорной жертвой мужской агрессивной сексуальности. Но ему нравилось именно так. Любовная близость, в сущности, была на удивление точным слепком их отношений: он деревенский – она городская, он добивается – она ускользает: ведь только грубые деревенские девки легко получают грубое простое удовольствие, а нежные городские жеманятся, и он каждый раз ее ДОБИВАЛСЯ.

– Оля, все нормально?.. – откинувшись на спину, обиженно прошептал Андрей Петрович. – Ты здорова, у тебя ничего не болит?

Не болит?..

В этот раз Ольга Алексеевна не притворялась, – забыла притворяться. Забыла притворяться, забыла, что он «грубый», а она «нежная», и машинально отозвалась ему как хорошо работающий механизм, даже вскрикнула в конце. И он напрягся, не понимая, и не решился сказать недовольно – что это с тобой?..

– Голова болит, устала, – извиняющимся тоном сказала она, – прости...

Ольга Алексеевна едва сдержала смех. Сколько мужей в Толстовском доме этой ночью услышали от своих жен «голова болит» как извинение за холодность, столько мужчин привычно обиделись на жен за их равнодушие, а у них с Андреем Петровичем наоборот – она просит прощения за горячий отклик. Господи, неужели за столько лет брака он так ничего и не понял! Каким же наивным может быть мужчина в постели, такой властный, такой важный, такой НАЧАЛЬНИК, вот уж воистину любая женщина в постели обведет вокруг пальца любого мужчину... Но она и правда устала – устала от напряжения, от мыслей об этой... Нине. Какая она, эта девочка?..

– Может быть, съездить, осторожно порасспросить соседей, учителей, какая она, эта девочка... Ну просто чтобы понять, есть ли у нее качества ее матери или... – сказал Андрей Петрович, перекатившись на свою сторону кровати, и – страшным шепотом: – Или ОТЦА?

– Патологическое упрямство. Нежелание считаться с семьей. Эта ее бешеная страсть, совершенно противоестественная, неуместная для приличной женщины. Асоциальность. Это – от матери, – перечислила Ольга Алексеевна. – А что может быть от отца – лучше вообще не думать об этом. Она может оказаться воровкой, развратницей... Но даже если она просто тупица или хамка, этого уже достаточно, чтобы испортить нам жизнь.

Ольга Алексеевна и сама уже думала, не поехать ли в разведку, но отбросила этот план как неконструктивный. Можно съездить, но что это даст? Что такого могут сказать соседи и учителя, чтобы это повлекло за собой решение – непременно брать? Что одиннадцатилетняя девочка не пьет, не привлекалась к суду? ...О господи, к суду!..

На экране мельтешили Ипполит, Женя и Надя...

– Олюшонок, ты спишь?.. Есть еще один очень важный аргумент – жилплощадь. Ты понимаешь, о чем я?.. У нас большая квартира в центре. Сейчас вся наша жизнь распланирована наперед. Если я буду жив-здоров, я сделаю квартиры девочкам. Если мне придется уйти на другую работу или на пенсию, мы разменяем нашу квартиру на три квартиры, одну нам и две девочкам. Наша жизнь и жизнь девочек в любом случае устроена навсегда. Ты понимаешь?..

Ольга Алексеевна устало кивнула – что ж тут не понять, их жизнь устроена навсегда.

– А если прибавить ко всему эту Нину, ситуация в корне меняется, – Андрей Петрович говорил медленно, значительно. – Мы должны будем ее прописать. ПРОПИСАТЬ! Ты понимаешь, что такое прописка?! Впоследствии она сможет претендовать на жилплощадь. Прописка – это навсегда.

– Конечно, мы не можем ее прописать в ущерб Алене и Арише, – согласилась Ольга Алексеевна.

Ипполит топтался на морозе под окнами, Женя и Надя остались одни...

Андрей Петрович закрыл глаза, повернулся на правый бок, – на левом боку запретили спать врачи, по-детски накрылся с головой одеялом и вдруг оттуда, из-под одеяла, вскричал шепотом, как всхлипнул:

– Ну, мы же не виноваты, я не виноват!.. Мы не можем взять девчонку, и точка!

– Ты не виноват, не виноват! Мы не можем ее взять, ты прав, прав, успокойся... – зашептала Ольга Алексеевна.

Андрей Петрович застонал тоненько, как ребенок, и Ольга Алексеевна прямо-таки физически почувствовала, как в ней нарастает злость, как она вся наливается злостью на Катюку. Не хватало еще, чтобы Катюка из могилы попыталась разрушить их жизнь!

– Сердце, побереги сердце, – приговаривала Ольга Алексеевна и гладила, гладила любимую грудь, обходя пальцами жирные складочки так нежно и невесомо, будто ласкала младенца.

Три года назад врачи нашли у него нарушение сердечного ритма. До этого они ездили в отпуск вместе с девочками, попеременно в Крым и на Кавказ на дачи ЦК, но последние годы уезжали вдвоем в санатории Четвертого управления. Отдых в санаториях немногим хуже, чем на дачах ЦК, и заодно можно провериться, подлечиться... Времени заняться своим здоровьем в течение года у него не было, а нарушение сердечного ритма диагноз хоть и не страшный, можно сто лет прожить, но чреватый неожиданностями – можно и не прожить...

Врач сказал, Андрею Петровичу при его нервной работе необходимо больше отдыхать, бывать на даче, хоть раз в неделю гулять по лесу. Госдача, огромный дом в Комарово на участке в 30 соток в сосновом лесу – гуляй не хочу, но сколько раз было – приезжает на дачу и через час по звонку мчится в город...

Не нервничать! С такой работой попробуй сохранять спокойствие.

А теперь и дома, где он должен получать только положительные эмоции, – такое!

Ольга Алексеевна приподнялась на локте, зашептала:

– Андрюшонок, а если узнают? ...Узнают, что у нас родная племянница в детдоме?.. Ты первый секретарь райкома, я член партии... Партия очень тщательно следит за нравственной стороной. Сдать родную племянницу в детдом... как это будет выглядеть?.. Да еще мать погибла при трагических обстоятельствах. Такое неординарное событие, взрыв в метро... Я не понимаю, откуда У НАС, в Советском Союзе, взрыв в метро?!

Андрей Петрович вздохнул.

– Это очень плохо выглядит – родная племянница в детдоме... А ты, Олюшонок, молодец, соображаешь...

Олюшонок про партийную работу много чего понимает. Партийные правила строги – в нравственном плане все должно быть идеально. В семье все должно быть идеально. Если в семье неурядицы, то ВСЕ. Второй секретарь, на место которого он когда-то пришел из завотделом, полетел всего лишь из-за подозрения в интрижке в своем аппарате. Бюро обкома только что освободило третьего секретаря из-за сына-подростка – мальчишка почитывал какую-то там запрещенную литературу... Родная племянница в детдоме – это вам не подросток-читатель, не интрижка, не разрушение семьи, но тоже плохо. Могут сказать – а как же гуманность и тому подобное, как мы выполняем свой, так сказать, общечеловеческий долг?.. Но все же это маловероятно. А Олюшонок при всем своем уме и понятии о партийной работе – женщина. Так за него боится, что не может сравнить риски.

Девочка в детдоме – это, можно сказать, похоронили гадкую тайну навсегда. А вот девочка живет у них в семье – это мина замедленного действия. Если потребуется его уничтожить, запросто раскопают, ЧЬЯ дочь эта Нина. Компромат ТАКОЙ убойной силы – в семье одного из руководителей Ленинграда проживает дочь человека, у которого руки в... тьфу, гадость какая! – такой компромат может свалить его в считанные часы.

Олюшонок про партийную работу много чего понимает. Много, но не все. Она не знает, КАК это, когда валят в партийных органах... страшно. Если ты оступился, тот, кто выше тебя по положению, тебя изничтожит, не успокоится, пока не унизит тебя, как собаку, а за ним остальные, все по очереди плюнут в душу, все вытопчутся. ... Его топтали, и он топтал сам, такие правила, ничего не попишешь... О-ох... На кону его карьера, его жизнь.

– Все! Спать! – рывкнул Андрей Петрович и зашевелился, устраиваясь удобнее, подтыкая под себя одеяло.

Ольга Алексеевна покосилась на мужа – слава богу, спит.

– Мама, моя Надя приехала... – сказал Женя.

... – Поживем, увидим, – отозвалась мудрая Женина мама.

Ольга Алексеевна встала, выключила телевизор, легла в постель, подумала вдруг: «А ведь у них ничего не получится... у Мягкова и Барбары Брыльска, у Нади и Жени, – ничего у них не получится... слишком они...» – и, не додумав, ЧТО Надя и Женя слишком: слишком влюблены, слишком эгоистичны, уже окончательно – Андрей Петрович спит, больше они не будут разговаривать – свернулась в клубок, закрыла глаза, поплыла в сон, и... Она не поняла, сколько прошло времени, – прошло несколько минут, как она задремала, или уже утро...

– Я сказал – все. Хватит этого цирка! Чтобы я больше никогда о ней не слышал! – решительно произнес Андрей Петрович совершенно несонным голосом. – Больше не говори мне о ней, как там ее зовут, Нина... неважно. Мы ее удочерим. Официально. Поедешь и заберешь девочку к чертовой матери. Завтра утром скажешь водителю, пусть купит билет.

– У меня уже есть билет, на послезавтра, – сонным голосом ответила Ольга Алексеевна.

– А лекции? Как же твои лекции? – хлопотливо спросил Андрей Петрович, словно хватаясь за последнюю возможность НЕ БРАТЬ.

– Я уже договорилась, меня заменят. Я свои конспекты дам...

Ольга Алексеевна очень ревностно относилась к лекциям, каждый год заново конспектировала классиков марксизма-ленинизма. В кладовке на кухне на полках хранились конспекты, за годы ее учебы и преподавания они заполнили все полки. Андрей Петрович над ней подшучивал: «У людей в кладовках соленые грибы, варенье, – в хозяйстве экономия, а у нас сплошная политэкономия... Маркс и Энгельс ничего нового за этот год не написали». – «Я осмысливаю по-новому, в соответствии с текущим моментом», – обидчиво отвечала Ольга Алексеевна.

– Андриюшонок... Андриюшонок, мы же порядочные люди. Ты добрый, ты у меня порядочный, несмотря на... на все, – пробормотала Ольга Алексеевна. – ... И знаешь что?.. В войну люди в деревнях прятали партизан и не боялись...

– Спи уже, спи...

Он ее любил, за все, за ее странные оговорки, за конспекты в кладовке вместо солений и варенья, за некоторую необычность мышления. Она часто высказывалась неожиданно, непонятно. Казалось бы, при чем здесь партизаны? Но в этот раз он ее понял – партизаны при том, что их решение было очень смелым.

Эта сцена со стороны кажется опереточной: «нет!» и тут же «да!», «ни за что не возьмем!» и тут же «поеду и заберу...», как о давно решенном деле.

Андрей Петрович не спросил: «Почему ты без меня решила? А если бы я сказал не брать?» Ольга Алексеевна не спросила: «А почему ты передумал?» Но слова были не важны. Они были так близки, что обоим было ясно, что за «нет, не возьмем» стояло уже принятое решение – девочку взять.

Карьера – вот что единственно их волновало, вокруг ПОЛОЖЕНИЯ кружили их мысли, решали ли горячо – ни за что девочку не брать, прикидывали ли, что грозит большей опасностью для карьеры – взять сироту или не взять. ...Но почему такая ирония и заведомое неодобрение – «карьерист»? Это была ЕГО карьера, ЕГО ЖИЗНЬ.

Смирнов приехал в Ленинград из деревни с мешком сала, жил в комнате на двенадцать человек в общежитии Машиностроительного техникума при Кировском заводе, с первого курса был комсоргом, старательно учился, мечтал после техникума окончить институт, прийти на Кировский завод инженером. Техникум он так и не окончил, его сняли с третьего курса, направили в Высшую партийную школу. Высшая партийная школа давала комсомольскому активу высшее образование за три года, и с дипломом ВПШ он пришел на Кировский завод – не инженером, а освобожденным секретарем комитета комсомола. Освобожденный секретарь комитета комсомола, слушатель Университета марксизма-ленинизма, затем секретарь парткома Кировского завода. С Ольгой Алексеевной познакомились, когда она, молодой лектор общества «Знание», пришла прочитать комсомольскому активу лекцию о международном положении. С Кировского завода его забрали в Петроградский райком на должность

инструктора, через год он уже был завотделом, потом вторым секретарем Петроградского райкома, потом – первым. За пятнадцать лет он прошел путь от деревенского мальчишка с мешком сала до первого секретаря Петроградского райкома. Это была головокружительная карьера. ... И он действительно мог стать зампредом горисполкома, или завотделом горкома партии, или даже одним из секретарей горкома.

Вот они и прикидывали, не разрушит ли ЭТО, СТРАШНОЕ, их жизнь, и их можно понять, – кому же хочется свою жизнь разрушить?.. Но все разговоры, все аргументы ПРОТИВ Нины были от безысходности. Он знал, что выбора нет, и она знала – хочешь не хочешь, придется девочку взять.

...Как взять в дом чужую девочку?.. Даже если Нина не унаследовала упрямства своей матери и порочности своего отца, даже если она хорошая девочка, у них уже навсегда будет три девочки, три... Потом ведь не отправишь назад, как бандероль, доставленную по ошибке.

А как не взять?.. Отдать в детдом, и как с этим жить? Катька будет являться призраком, спрашивать: «Где моя дочь?» Была и еще одна подспудная причина, тайное суеверие – случись с нами что плохое, нашим девочкам тоже кто-нибудь поможет...

Люди часто совершают хороший поступок, потому что не в силах совершить плохой. Мало кто обладает чистой, природной нравственностью, многие просто боятся, боятся бога или «что скажут люди», боятся спросить самого себя: «Что же, я плохой человек?» Это неплохой способ быть неплохим человеком.

Все это к тому, что Ольга Алексеевна и Андрей Петрович были не подлые и не благородные люди – обычные.

Андрей Петрович похрапывал, Ольга Алексеевна лежала без сна и снова и снова перебирала в уме свои страхи – раз, два, три, как будто от бесконечного нервного перечисления страхов становилось меньше.

...Алкоголизм – раз, квартира-прописка – два и три – ЭТО, СТРАШНОЕ, о чем нельзя говорить... У них две девочки, Алена и Ариша. Две. А с Ниной будет три. Это не шутка – взять взрослую девочку. Это семья, ее прекрасная семья, можно навредить, можно разрушить...

\* \* \*

«Злокозненная» – это слово не из словаря Ольги Алексеевны, слишком литературное. Но она думала именно так: «Нина злокозненная». Притворяется тихой, а сама строит злые козни.

Ольга Алексеевна привезла Нину домой поздно вечером в пятницу.

Ольга Алексеевна понимала – девочке будет трудно. Слишком большая разница между ее новым домом и старым. Ольга Алексеевна не ожидала, конечно, увидеть дворец, но все же Катька жила не в забытой богом деревне, а в поселке городского типа. Москва совсем рядом, а люди ТАК живут – туалет во дворе... Катькина комната на первом этаже, в комнате рукомошник, под ним таз, дверца старого холодильника приперта табуреткой, с потолка свисает лампочка, на двери вешалка, на ней платье и пальто, в кухонном шкафчике – кастрюля большая для супа и кастрюля поменьше для второго, две глубокие тарелки, две мелкие, две кружки. И липкая лента для мух – с лета осталась. За пестрой занавеской диван, на котором Катька с дочерью вдвоем спали. Вся жизнь на пятнадцати квадратных метрах.

Ольга Алексеевна понимала – и жалела девочку. Нина, войдя в квартиру – прихожая больше, чем их с Катькой комната, в прихожей дверь в детскую, вглубь квартиры ведет длинный коридор, – огляделась, сделала шаг назад и замерла в дверях.

– Вот эта дверь – к девочкам. Девочки спят. Познакомишься с ними завтра. У них две смежные комнаты. В проходной комнате два секретера, Аленин и Аришин, и диван. Ты будешь

спать на диване, и в каком-нибудь секретере тебе выделим место, – Ольга Алексеевна говорила четко и по существу вопроса, как на лекции.

Нина молчала, глядела в пол. Придется быть с ней терпеливой.

– Во второй комнате Алена с Аришей спят, там их шкаф, тебе тоже выделим место в шкафу. В понедельник после работы мы ходим в Гостиный Двор и купим тебе белье и школьную форму.

Она привезла девочку практически без вещей. Белье у Нины было ужасное, застиранное, рваное, Ольга Алексеевна велела взять одни трусики на смену и ночную рубашку, а школьное платье оставить дома – в таком платье ее нельзя отправлять в ленинградскую школу.

– Андрей Петрович в кабинете, он устал после рабочей недели. Не знаю, сможет ли он тебя принять... – сказала Ольга Алексеевна. Нина не выказала никаких эмоций, не огорчилась, не улыбнулась, и Ольга Алексеевна рассердилась на себя за чересчур официальное, непонятное этой забитой девочке выражение.

– Что ты стоишь как бедная родственница, снимай обувь, пойдем... – раздраженно сказала Ольга Алексеевна, сказала и опять осеклась, – Нина действительно БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА.

Ну вот, опять она что-то не то сказала! Но откуда ей знать, как облегчить Нине эту нелегкую ситуацию, откуда ей знать, что чувствует Нина – радуется или печалится, восхищается красотой своего нового дома или робеет?

Ольга Алексеевна попыталась увидеть свой дом глазами Нины.

Гостиная. В гостиной огромный бархатный диван и два кресла, – финский гарнитур, темный полированный стол со стульями, финская стенка, в стенке телевизор, за стеклом хрусталь, на полках книги, сувениры, привезенные из-за границы: куколки в народных костюмах из Болгарии, Чехословакии, Югославии, Пиноккио из Италии, фарфоровая пастушка, купленная в Вене. Хрустальная люстра с длинными подвесками, на полу ковер.

– Как в музее... – прошептала Нина.

– Андрей Петрович предлагал повесить ковер на стену, но я считаю, ковер на стене – это мещанство... – с искусственным оживлением начала Ольга Алексеевна и чуть не произнесла вслух: «Господи, кому я это говорю...» Скорей всего, девочке в этом великолепии РОБКО. После той ужасной комнаты ленинградская квартира для нее целый мир, неуютный и неприветливый. – Вот там, в глубине коридора, еще две двери – наша с Андреем Петровичем спальня и кабинет Андрея Петровича. Андрюшонок, можно к тебе? – Ольга Алексеевна постучалась в дверь, показала пример. Пусть Нина знает, что, прежде чем войти, нужно стучать.

Андрей Петрович отложил газету, выбрался из-за стола, подошел к Нине. Большой, грузный, с тяжелым взглядом. Нина рядом с ним как чахлый щеночек пекинеса рядом с огромным бульдогом.

– Ну, что, молодежь, как дела? – Андрей Петрович неловко дотронулся до Нининого плеча. – Ну, и с приездом, конечно. Ты это... чувствуй себя как дома.

Щеночек пекинеса испуганно икнул в ответ, и аудиенция закончилась.

Дальше коридор заворачивал направо, – Ольга Алексеевна из коридора показала Нине кухню, по размеру почти равную гостиной, и завела ее в ванную.

– Прими душ. Белье постирай руками. Платье положи в стиральную машину... О-о, там выстиранная одежда, девочки стирали и не развесили... Ты вынимай белье из машины, а я развешу, – нарочито оживленно сказала Ольга Алексеевна. После знакомства с Андреем Петровичем девочка чуть не плачет, вот сейчас за развешиванием белья и придет в себя – совместный труд сближает.

Нина стояла молча, тупо глядела в пол.

– Что? – недовольно спросила Ольга Алексеевна и тут же сообразила: она не умеет пользоваться стиральной машиной, боится сломать дверцу. – Ладно, не надо ничего, – устало произнесла Ольга Алексеевна, – давай-ка спать.

У них много техники, с которой Нина не умеет обращаться: стиральная машина, кофемолка, миксер, кухонный комбайн, магнитофон... Бедная девочка ничего этого в глаза не видела. Нужно будет найти время объяснить ей, как работает техника, на каждую кнопку вместе с ней нажать, получится как будто лекция и практическое занятие одновременно.

Ольга Алексеевна быстро уложила Нину на диване в гостиной, – бог с ними, с правилами гигиены, потом всему научит, забрала Нинину одежду – она сама положит это тряпье в стиральную машину, прикрыла дверь, прошла к мужу в кабинет.

Увидев ее, Андрей Петрович встрепенулся, – я чаю хочу, дай мне чаю...

Ольга Алексеевна принесла мужу чай, налила как всегда – ложка заварки в специальное ситечко, две ложечки сахара, долька лимона, села не рядом, а напротив, будто пришла к нему на прием.

– Ну что?.. Андрюшонок? Как она тебе? Похожа на Катьку?

– Да я ее и не разглядел, – признался Андрей Петрович, – волновался чего-то... Жалко ее, представь, девчоночка в чужом доме, переживает... Ну а тебе, тебе-то она как?

– Ничего страшного. Тихая, непритязательная, никаких хлопот. Вот только...

– Что только? Докладывай.

Нина Ольгу Алексеевну удивила. По возрасту Нина как близнецы, но по физическому развитию недоразвитая, как ребенок. Алена высокая, пышная, уже лифчик носит, Ариша тоненькая, прямая, как стебелек, – до лифчика еще далеко, но высокая, как сестра. Нина девочкам по плечо и вся какая-то неровная, как скрюченный кустик. Лицо у нее совершенно детское – какой там подросток! На Катьку похожа. Катька была не красавица, но симпатичная. Вот только глаза – слишком взрослые.

Но, если подумать, какое детство, такие и глаза. Соседи сказали, она была Катьке не как дочка, а как нянька.

По сравнению с Аленой и Аришей, Нина... нехорошо так говорить, но она просто отстающая!.. Алена и Ариша прекрасно играют на пианино, Алена катается на коньках и на лыжах, как профессиональная спортсменка, Ариша знает наизусть сотни стихов... Нет-нет, она не глупа и несправедлива настолько, чтобы ожидать столичных изысков от девочки, выросшей с пьющей матерью и учившейся в поселковой школе. Всему – лыжам и стихам – нужно научить, а Нину учить было некому.

Ольга Алексеевна всегда гордилась своей объективностью. Не позволяла себе, как многие преподаватели, личных симпатий и антипатий: не понравился студент, показался нахальным, развязным, – раз и тройку ему вместо четверки. Она всегда себя контролировала: не понравился студент – она ему дополнительный вопрос. Ну а уж если не ответил, тогда держись... Так неужели она будет несправедлива к сироте?..

...Но эта девочка не знает самых элементарных вещей!.. Не знает, что «Медного всадника» написал Пушкин, что в Москве есть Третьяковка и Пушкинский музей, она даже – смешно сказать – не знала, что в Ленинград ездят на поезде...

А почему она все время молчит?.. Девочки в ее возрасте даже излишне эмоциональны и болтливы, а эта – то ли хмурится, то ли улыбается, и все молча. Молчунья, от природы неразговорчивая, эмоционально не развитая или просто туповата?..

Ольга Алексеевна значительно посмотрела на мужа и, понизив голос, сказала:

– Все не так страшно. Она ничего не знает.

– Чего ничего? – раздраженно спросил Андрей Петрович. – Что ты тут шепчешь, понимаешь, как шпионка?..

Ольга Алексеевна не обратила внимания на тон мужа – он нервничает, чувствует себя не в своей тарелке. Она и сама нервничала. Одно дело – принять благородное решение, и совсем другое – когда вот оно, твое благородное решение, спит в гостиной.

– Нина не знает, кто она и откуда. Для нее ее жизнь началась в поселке. Она не знает, кто ее отец, – терпеливо пояснила Ольга Алексеевна. – Катька ей что-то наплела, – ну как обычно говорят, что отец летчик, разбился, или что-то вроде того... Хотя тут ума хватило... Кстати, я подумала – с алкоголизмом мы с тобой погорячились. Откуда у нее НАСЛЕДСТВЕННЫЙ алкоголизм? Катька ведь начала пить уже там, в поселке, когда...

– Когда его... – продолжил Андрей Петрович, приставил к голове палец и нажал на воображаемый курок, что означало «расстреляли».

– Андрюшонок, теперь самое главное. Слушай меня внимательно.

– Ну? – недовольно отозвался Андрей Петрович. – Что еще? Ну?..

– Ну... ну вот. Ты только сразу не возражай. В общем... Девочка не знает, что мы с Катькой сестры, что она моя родная племянница. И Я ЕЙ НЕ СКАЗАЛА. Теперь понимаешь?

– А чего тут не понять? Конечно, понимаю. Не знает, так скажи ей.

Ольга Алексеевна устало откинулась на стуле, вздохнула – как он иногда тяжело соображает, прямо как трактор, слышно, как гусеницы скрипят...

– И пусть все так и остается. ПУСТЬ ВСЕ ТАК И ОСТАЕТСЯ. Я сказала: «Ты осталась сиротой, мы с Андреем Петровичем как коммунисты пришли к тебе на помощь».

– Не по-онял... – сердито пробасил Андрей Петрович, сообразив наконец, о чем речь, и упрямо набылся. С покрасневшего затылка медленно поползла капля пота.

Все, с кем Андрей Петрович напрямую общался в районе, директора крупных заводов, секретари больших партийных организаций, были знакомы с этим тягучим «не по-онял» в диапазоне от «не одобряю» до «ты у меня вылетишь из партии!» и умели распознавать настроение «первого» по степени покраснения от приятно-розового цвета свежего окорока до багряного апоплексического румянца. В райкоме, среди своих, бытовало выражение «он на тебя краснел?». За покраснением обычно следовал крик.

Краснеть на Ольгу Алексеевну было бессмысленно, – Андрей Петрович и помыслить не мог повысить на нее голос или решить что-нибудь в одиночку. Его домашность и прирученность была несомненной, и дома привычка к многолетней власти проявлялась только на лингвистическом уровне – «не по-онял» выражало крайнюю степень неодобрения, которую он мог себе позволить. На угрожающее «не по-онял» Ольга Алексеевна обычно реагировала холодной улыбкой – чуть кривила уголки губ, и он сразу же сдавал назад... Страшно представить, что было бы, если бы Ольга Алексеевна не была такой умной... или такой сексуальной, в общем, если бы он так ее не любил.

– Андрюшонок, я повторяю. Я сказала: мы с Андреем Петровичем хоть и чужие тебе люди, но как твои приемные родители сделаем все, чтобы построить правильные взаимоотношения... Но и от тебя, конечно, тоже будет зависеть.

– Ну, Олюшонок, ты даешь... – Андрей Петрович потер лоб, недоуменно и обиженно посмотрел на жену, – он всегда обижался, когда не понимал чего-то, что она понимала.

– Получается, она нам родная, а мы будем врать, что чужая?..

– Не врать, а умалчивать... – уточнила Ольга Алексеевна. – Но мы все равно выполняем свой долг, делаем ей добро в память о Катьке.

– Ну, я не знаю... Полудобро какое-то получается... – хмыкнул Андрей Петрович.

Никто еще не называл его дядей, Катькина дочка могла бы говорить ему «дядя Андрюша». Зачем он вешал на себя весь этот риск, если оказывается, что она ему не родня?! Он-то хотел как лучше, он-то только потому, что родня... Жена сказала бы, что в нем говорит деревенское «родная кровь».

Андрей Петрович ни за что не произнес бы это вслух, между ними не было ни привычки, ни надобности обсуждать чувства – всякие там разочарования, недовольства, обиды, но ему было ОБИДНО: предложение Ольги Алексеевны обесценивало его жертву, его подвиг. Каткина дочка будет им «чужой» – а зачем ему девочка, которая считает его чужим?..

– Олюшонок, это прямо какие-то тайны мадридского двора получаются... Ты придумала как в кино. Но это жизнь, Олюшонок, а не кино!.. Когда-нибудь Нина узнает, что твоя девичья фамилия такая же, как у Катки. И поймет, что они сестры, то есть... тьфу, ты меня запутала... что вы сестры с Каткой.

– Это совпадение. Фамилия распространенная, – жестко произнесла Ольга Алексеевна. – У нее теперь твоя фамилия – Смирнова. В новой метрике «отец – Смирнов, мать – Смирнова». Через пару лет она и свою старую фамилию забудет, не то что Каткину!

Ольга Алексеевна привстала со стула, наклонилась к мужу через стол, зашептала:

– Ну поверь мне, поверь! Никто никогда не узнает, ни она, ни девочки! ... Я тебя прошу – ради тебя, ради нас всех – пусть все так и остается! Для общей пользы!

Ольга Алексеевна использовала и последний, самый сильный аргумент – девочки.

– Нам не придется объяснять девочкам, почему мы не общались с Каткой, почему она уехала из Ленинграда. Чем меньше ссылок на ту историю, чем дальше девочки будут от той истории, тем лучше... Господи, Андрюшонок, ДЕВОЧКИ!

Андрей Петрович кивнул:

– Ну... Олюшонок, я понимаю. Не объяснять девочкам, не врать, что произошло с Каткой, – это да, это я согласен... Возможность скрыть все следы – это да...

Ольга Алексеевна устало откинулась на спинку стула – невыносимо ныла спина, сказались восемь часов в сидячем поезде «Аврора», нежно улыбнулась:

– При твоем уме, Андрюшонок, при твоей политичности ты сам все понимаешь, ты же на редкость умный человек...

Кому не откажешь в уме, так это самой Ольге Алексеевне, в уме и женской ловкости. Она не стеснялась простых, незатейливых способов воздействия на мужа: спала с ним, как он хотел, хвалила его, как он хотел. Андрей Петрович больше всего на свете – кроме того, чтобы стать зампредом исполкома, хотел, чтобы жена считала его на редкость умным человеком. «Ты же на редкость умный человек» всегда было заключительным аккордом в супружеских спорах.

– Ну... да. Но Алена с Аришей могут возражать против удочерения чужой девочки. Что мы скажем Алене с Аришей, с какого перепугу мы удочерили совершенно чужого человека?

Ольга Алексеевна подумала минуту и произнесла жестко, словно обращаясь не к мужу, а ко всему миру:

– Что мы скажем?.. Мы скажем правду: она сирота, мы, как коммунисты, пришли на помощь... Если девочки не будут считать ее сестрой, они не привяжутся к ней. Через несколько лет она повзрослеет и уйдет, и... и все.

Андрей Петрович потянулся, зевнул, – он хотел спать и так устал от разговора, что уже не слушал Ольгу Алексеевну, только одобрительно кивал, привычно радуясь и удивляясь мудрости и житейской хватке своей жены.

...И они пошли по еще не хоженной ими дороге – прежде в их доме не было тайн мадридского двора, не было кино, недоговоренностей, полуправды, полудобра.

Это была первая ночь, проведенная Ольгой Алексеевной под одной крышей с Ниной с тех пор, как она была младенцем... младенцем не считается. Это была первая ночь, когда Нина была за стенкой, возможно, от этого – или от боли в спине – Ольга Алексеевна не спала.

Нина здесь, теперь уже все, назад не отправишь, а она так и не смогла избавиться от своего горестного счета: алкоголизм – раз, прописка – два... И то, что нельзя произносить вслух, только один раз, в темноте, про себя, произнести ПРО СЕБЯ ШЕПОТОМ, и сердце от ужаса падает вниз – доллары.

Этой ночью прекрасная память Ольги Алексеевны сыграла с ней злую шутку. Перед глазами Ольги Алексеевны, привычной к чтению партийных документов, вдруг ясно встала давно забытая страница – текст 88-й статьи Уголовного кодекса, предусматривающей высшую меру наказания за осуществление валютных операций. И еще одна страница – статья в «Ленинградской правде». Ольга Алексеевна мельком отметила – позже, при Брежнев, такого рода процессы уже широко не освещались, но в шестьдесят шестом году, спустя два года после смещения Хрущева, в газетах по старой памяти еще подробно рассказывали о деятельности и шикарной жизни арестованных валютчиков.

Статья называлась коротко и хлестко – «Гад». Ольга Алексеевна, к своему удивлению, помнила наизусть целые абзацы.

...При обыске квартиры Кулакова по кличке Фотограф, самого молодого среди арестованных ленинградских валютчиков, сотрудникам КГБ удалось найти тайник в ножках платяного шкафа, где было спрятано валюты на полмиллиона рублей и два миллиона советских рублей.

...Яростным гадам с инстинктами частных собственников нет места в социалистическом обществе. Скоро их окончательно сметет настоящая жизнь, которая врывается в окна зала суда призывом пионерских горнов и ревом самосвалов. Долой из Петрограда яростного гада!

Они не сказали Катьке, что расстрел был заменен восемнадцатью годами лишения свободы. Через год... или через два? – все плохое забывается быстро... через год или два Катьке пришло письмо, пришло и вернулось обратно в зону с пометкой «адресат выбыл». Катька должна быть благодарна, что они оградили ее от этого. Катька должна быть благодарна, что они взяли ее дочь, ее и яростного гада.

Андрей Петрович прав – окончательный вердикт выносить рано, нужно дать девочке время освоиться. Пусть Нина не хватает звезд с неба, хорошо уже то, что она не какая-то наглая деваха, а тихая непритязательная девочка, с которой не будет хлопот... тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

«Не нужно было ее брать», – вдруг подумала Ольга Алексеевна.

У нее не было близких друзей. Детские подруги все были общие с Катькой, и, когда Катьку увезли из Ленинграда, она оборвала все старые связи, чтобы не объяснять, не лгать, но детские дружбы все равно были обречены: те, для кого она была Ольгой, не вынесли бы вранья. Старых никого не осталось, а новых друзей не завелось, от всех, с кем Ольга Алексеевна могла бы подружиться взрослой, у нее был секрет, к тому же для них она уже была женой большого начальника... Не было никого, кому она могла бы наутро сказать: «Знаешь, у меня предчувствие – не нужно было ее брать...»

Если предчувствие не исполнится, о нем забывают, а если исполнится, говорят: «У меня было предчувствие, и оно оправдалось».

\* \* \*

Если бы Нина была испуганной благодарной сироткой из классического романа, можно было бы написать: «А в соседней комнате не спала Нина». Но Нина Кулакова, с этого дня Нина Смирнова, проживающая по адресу Ленинград, улица Рубинштейна, дом 15, в квартире на пятом этаже напротив лифта, спала так крепко, как спят только в чужом месте, нырнула в сон, как в черную воронку, в другую реальность. Кроме того, она не была благодарной сироткой – Нина яростно ненавидела своих приемных родителей.

«Я отомщу... Мы еще посмотрим...» – грезил Нина.

\* \* \*

Ольга Алексеевна понимала – все зависит от девочек. С взрослыми Нина как-нибудь поладит. Главное – девочки.

Утром – удачно вышло, что суббота, не нужно торопиться в школу – она подняла Алену с Аришей, подвела к двери гостиной и сказала: «У меня для вас сюрприз». Алена сверкнула улыбкой – подарок, подарок! – нетерпеливо толкнула дверь, влетела, за ней Ариша, тоненько вторя: «Пода-арок?»

– Вот Нина, у нее умерла мама, мы ее удочерили, теперь она Нина Смирнова, теперь вы три сестры Смирновы, вы рады?..

Нина сидела на краешке дивана. Она уже давно проснулась, сложила постель в угол дивана, сидела в ночной рубашке, ждала, когда ее позовут, надеясь, что Ольга Алексеевна не забудет, что у нее нет платья, и очень хотела в туалет. Боялась выйти из комнаты, боялась заблудиться, случайно толкнуть не ту дверь, оказаться в спальне или, страшно представить, в кабинете, а страшнее всего – в комнате девочек.

Трудно было создать более неловкую ситуацию для знакомства. Теперь, когда к ней наконец пришли, Нина не знала, что делать. Продолжать недвижимо сидеть перед ними глупо, встать невозможно... оказаться в ночной рубашке перед этими рослыми красивыми девочками в нарядных халатиках – лучше умереть!

– Вы ее удочерили? Зачем? Откуда она? Кто ее родители? Где она жила? Она теперь наша сестра? Родная? Двоюродная? Удочеренная? – Алена задавала вопросы по-деловому, в хорошем темпе, не глядя на Нину.

Ольга Алексеевна ответила на безопасный вопрос:

– Нине одиннадцать лет, как и вам, и – я вам много раз говорила, нельзя говорить о человеке в его присутствии «она».

– Одиннадцать... – повторила Алена, рассматривая Нину, как оценщик в комиссионном магазине рассматривает сомнительный товар, и уточнила: – Учти, я старшая. Я старше Ариши на десять минут.

– Умерла мама... а как же без мамы? ...А папа, хотя бы папа есть? – пробормотала Ариша.

– Ты что, дурочка? Тебе же сказали – удочерили, значит, никого нет, – сердито сказала Алена.

– И папы нет. Никого нет, – повторила Ариша, в глазах мгновенные слезы. Она подвинулась к дивану, они с Ниной неотрывно смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова, одна от стеснения и страха, другая от жалости.

«Хорошо», – удовлетворенно подумала Ольга Алексеевна, наблюдая за девочками, как дрессировщик за зверятами.

В Арише Ольга Алексеевна не сомневалась. Ариша – добрая душа, всеобщий защитник, готова привести в дом всех несчастеньких, потерявшегося щенка, подбитую птичку. Но Ариша – при Алене. Оценки выносит Алена, решает Алена, как Алена решит, так и будет.

Алена посмотрела на съжившуюся Нину с неприязнью, потом на мать, как бодающийся теленок. Развернулась, направилась к двери и уже из коридора обернулась с непроницаемым лицом:

– Ну ладно... Нина. Ой, прости, сестренка.

Ольга Алексеевна нервно передернула плечами – что это, насмешка? Обиделась, что такую сенсационную новость предъявили как свершившийся факт? ...Обида? Ирония? Угроза?..

Ольга Алексеевна знала, что у нее совершенно разные дети, с тех пор как ей впервые принесли девочек в роддоме, – одна жалобно хныкала, а другая кричала. Алену покормили первой.

Алене первой меняли пеленки, Алена первая перевернулась на живот, первая села, пошла, заговорила. Алена была выразителем общего мнения близнецов – хочу и не хочу от обеих говорила Алена, но у Алены были и свои собственные желания, а у Ариши своего отдельного «хочу» не было.

Ольге Алексеевне приходилось обращаться с близнецами по-разному: на Аришу достаточно было строго посмотреть, припугнуть, а Алена на сердитый взгляд отвечала еще более сердитым взглядом. Андрей Петрович восхищался – какая у Алены сила воли, с ней можно только договориться!.. Но у Ольги Алексеевны тоже была сила воли. Договориться означает что-то получить, но и кое-что уступить, а уступать Ольга Алексеевна не любила. С какой стати она, преподаватель, известный всему институту своей строгостью, должна уступать собственной дочери?!

Алена с Ольгой Алексеевной всегда были в небольшой конфронтации, шла ли речь о том, чтобы доесть кашу, надеть шарфик или выбрать стихи к празднику. И чем старше становилась Алена, тем пристальней Ольге Алексеевне приходилось следить, чтобы дочь не переступала границ – пусть навязывает свою волю Арише, пусть даже отцу, если уж он позволяет вить из него веревки, но не ей!

– Аленушка... – строго начала Ольга Алексеевна, но Алены уже и след простыл. Стукнула дверь в спальне – побежала к отцу, расспрашивать, любопытничать. Вместо субботнего любовного спокойствия – обиженная беготня, стук дверей... Господи, как же это оказалось трудно! Одно дело – сгоряча совершить благородный поступок, и совсем другое – ежеминутно пожинать последствия!..

За завтраком молчали. Ольга Алексеевна отметила, что аппетит у Нины хороший, – нет, ей не жалко еды, но все же странно, такая маленькая, а съела на два сырника больше девочек. Подумала – нужно кормить, одевать, это все деньги... И тут же пристыженно одернула себя – прокормить ее они могут без всякого для себя ущерба. Зарплата у Андрея Петровича 700 рублей плюс конверт, в конверте надбавка по партийной линии, еще столько же, – получается 1400 рублей. Это, конечно, очень много – заведующий кафедрой, доктор наук, профессор получает 450. Плюс деньги «на лечение», раз в год тысяча рублей... Нет, дело, конечно, не в деньгах, – если бы дело было в деньгах! Девочка ее раздражает. Смотрит удивленно, как будто никогда не видела еду... Ольга Алексеевна одернула себя – не стоит раздражаться, Нина действительно никогда не видела красную рыбу, буженину, икру, шоколадные конфеты.

Слушая на кафедре разговоры коллег – где достать сервелат или горошек к Новому году, Ольга Алексеевна сжималась от неловкости. Водитель Андрея Петровича раз в неделю входил в Елисейский магазин с отдельного входа, с Малой Садовой, получал продуктовые пайки – по символическим ценам, практически бесплатно.

Она не участвовала в разговорах на тему «достать», ловила ехидные взгляды коллег – что же, у нас НЕ ВСЕ равны? И отвечала смущенным взглядом – да, у нас в стране не все равны, но, поймите, это справедливо! Первому секретарю райкома много дают, но от него много и требуют – Андрей Петрович работает как проклятый!

Андрей Петрович вставал в 6:30, в 7:30 он уже стоял в прихожей в костюме – черный костюм, белая рубашка, галстук за столько лет приросли к нему, как вторая кожа. В Смольный в другом виде нельзя, не разрешена даже цветная однотонная рубашка.

При взгляде на мужа в костюме, белой рубашке с галстуком Ольга Алексеевна всякий раз испытывала секундный сильнейший сексуальный импульс, одежда «для Смольного» действовала на нее, как на других женщин военная форма. Возможно, ее привлекала власть. В

отпуске, когда муж одевался свободно, как все, и казался как все, с Ольгой Алексеевной ничего подобного не случалось.

В восемь утра Андрей Петрович был в своем кабинете, и водитель никогда не привозил его домой раньше десяти вечера.

Ольге Алексеевне хотелось сказать: «С восьми до десяти каждый день много лет – попробуйте-ка! ... А ведь он еще учится, постоянно учится! Раз в три года в Москву – на курсы повышения квалификации на базе ЦК КПСС, раз в месяц лекция в райкоме “Методики идеологической работы”, раз в месяц лекция о международном положении, раз в месяц приглашенный специалист читает лекцию по культуре, о театре и кино, – он должен быть в курсе. Неужели при такой нечеловеческой нагрузке он не имеет права на колбасу или зеленый горошек?!»

После завтрака устраивали Нину в детской, все вместе, чтобы Нина почувствовала – ей рады.

– Нина, ты будешь спать на диване в проходной комнате... Диван нужно будет потом поменять на раскладной, – оживленно сказала Ольга Алексеевна. – Хорошо, что у вас две комнаты, да, девочки?.. Всем хватит места...

– Она ТУТ будет спать?.. Мусик, а если к нам гости придут, а она тут спит?! Пусик, а если я... – Алена на мгновение задумалась. – А если я захочу допоздна уроки делать?! А она тут спит!

– Я могу спать в проходной, хочешь? – предложила Ариша. – Я тебе не буду мешать, я буду ложиться спать, когда ты скажешь...

– Вот еще! Ты всегда будешь со мной спать! – фыркнула Алена и уточнила: – А полки в моем секретере я не отдам. Пусть Ариша делится. А мне все мое нужно.

– Цыц! Нечего мне тут права качать, – притворно сердито отозвался Андрей Петрович и, отвернувшись, растроганно улыбнулся. Какое там «допоздна уроки делать», Алена все уроки делает мгновенно, – и учится на одни пятерки. И характер у нее правильный – вредная! Не промолчит, когда ущемляют ее интересы, не уступит, не отдаст, – ни пяди земли! А на кой ляд быть доброй, добротой всякий может воспользоваться. Доброта – это бесхребетность, отрицательное качество, а не положительное.

Нине определили место в Аришином секретере. Переделали полки в платяном шкафу, половина Аришиных полок теперь пустые, Нинины. Уроки она будет делать на круглом столе в проходной комнате.

– Теперь у каждой есть свой рабочий уголок и шкаф. Все точно, как в аптеке, все справедливо, – удовлетворенно сказал Андрей Петрович.

Андрей Петрович повесил над диваном бра. Потрепал Нину по плечу, сказал: «Вот, дочка, теперь ты как барыня устроилась, понимаешь... читай перед сном и становись умнее». Нина сжалась, кинула быстрый птичий взгляд на Алenu, – сильно ли она рассердилась, что ее папа назвал дочкой чужую девочку, и на Аришу, словно заряжаясь от нее силой вынести всю невозможную тяжесть сегодняшнего дня.

Ольга Алексеевна заметила, вздохнула – ну вот, не было печали... девочка страшно, до немоты, боится Андрея Петровича, Алenu и ее саму, боится всех, кроме Ариши. Но что Ариша, Аришу и муравей не боится... Они все, буквально все делают, чтобы Нина чувствовала себя как дома, а она вместо благодарности – боится... Она и правда какая-то отсталая...

Но даже если Нина не блещет умом, если она эмоционально неразвита, даже если она отсталая, необходимо выполнить поставленную задачу – позаботиться о ней и создать в семье хорошую обстановку. Не для того они ее взяли, чтобы девочка боялась и была несчастна. И не для того, чтобы самим чувствовать себя дискомфортно.

– Нина, а ты знаешь, как тебе повезло? – доброжелательно улыбнулась Ольга Алексеевна. – Девочки сегодня приглашены на день рождения к однокласснику, Виталику Ростову. И ты тоже пойдешь. Это будет для тебя как... как первый бал Наташи Ростово́й.

Нина не улыбнулась, и Ольга Алексеевна вздохнула – они с девочками недавно посмотрели фильм «Война и мир», а Нина не знает, кто такая Наташа Ростова.

Алена нахмурилась:

– Мусик, это же не просто одноклассник! Это Виталик Ростов. Ты ведь знаешь, кто у Виталика родители! Виталик пригласил только нас, и Таню Кутельман, и, конечно, Леву Резника.

Андрей Петрович недовольно поглядел на жену:

– Опять двадцать пять!.. Резник, Кутельман... А что, других-то в этом классе нет?..

– Я понимаю, понимаю, но, Андрюшонок, пожалуйста! – значительным шепотом отозвалась Ольга Алексеевна. – Девочкам рано об этом знать! Подростут, сами поймут...

– О чем это нам рано знать? – оживилась Алена. – Что Лева и Таня – евреи? Подумаешь, тайна, покрытая мраком. Национальность в классном журнале написана на последней странице. Мы вот русские. У нас в классе есть одна татарка, один татарин и три еврея.

– М-да... вот девка, ничего от нее не скроется, муха мимо носа не пролетит! – смущенно крикнул Андрей Петрович. – Ну все, хватит, проехали...

– Лева – еврей, Таня – еврейка. Они евреи, и что? – не отставала Алена. – У нас ведь все равны. Да?

– Да, и русские, и татары, и украинцы, и лица еврейской национальности, – торопливо ответил Андрей Петрович.

– Все, хватит об этом, – поддержала Ольга Алексеевна.

Андрей Петрович и Ольга Алексеевна, как всегда, понимали друг друга с полуслова – они ни в коем случае не антисемиты! В Техноложке – не на кафедре марксизма-ленинизма, конечно, – но на технических кафедрах работали евреи, и Ольга Алексеевна поддерживала со всеми хорошие отношения, абсолютно не обращая внимания на национальность. В райком раз в месяц приходил завкафедрой марксистско-ленинской эстетики философского факультета университета Моисей Соломонович Коган, читал лекции по культуре, и Андрей Петрович очень его ценил, всегда с большим интересом и уважением...

Но – одно дело поддерживать отношения на рабочем уровне, а совсем другое пускать их в дом, в семью. Так девочки и замуж за евреев могут выйти! А ведь еврей по служебной лестнице не продвинется, начальником не станет, а уж о партийной работе и говорить нечего. И в университет, к примеру, евреям хода нет.

Алена уселась на колени к отцу, прижалась, невинно заметила, высунувшись из-под его руки:

– Пусик, но ведь ее... то есть нашу новую сестру Нину не приглашали! Все-таки Вадим Ростов, мировая знаменитость.

– Пойдет без приглашения. Она – Смирнова, – весомо произнес Андрей Петрович. – И чтобы никаких лишних разговоров в гостях у этих ваших мировых знаменитостей! Никаких «кто» да «откуда». Вы три сестры Смирновы, и точка.

– Да там никто и не спросит. Им безразлично, девочкой больше, девочкой меньше... – улыбнулась Ольга Алексеевна. – Они люди искусства, заняты только собой...

– Балеруны... – неопределенно пробормотал Андрей Петрович. – Все эти люди искусства для государственного престижа за границей, конечно, важны. Но вы, девочки, не тушуйтесь там. Мы и сами с усами.

Андрей Петрович всегда называл певицу Кировского театра Светлану Моисееву и пианиста Вадима Ростова «балерунами». Поют и пляшут, пока другие делают настоящее дело. Взять, к примеру, его. Первый секретарь Петроградского райкома – это ж какая на нем ответственность! Район у него один из главных в городе, 500 тысяч жителей, он хозяин в районе. Все в районе подчинено ему, он непосредственно руководит предприятиями, всей социально-культурной сферой... здравоохранением, соцобеспечением, учебными заведениями. Партия по б-

й статье Конституции – ведущая и направляющая политическая сила общества. Это вам не петь и плясать!

– А у нее нет платья! – выдвинула последний аргумент Алена.

Девочкам к этому дню купили кое-что в закрытом отделе Гостиного Двора. Толпящиеся в очередях, возбужденно перекликающиеся: «На первом этаже Перинной линии выбросили импортные босоножки!» – «Нет, не на первом, на втором!» – не знали, что счастье совсем близко – отдельный вход с Садовой линии вел мимо складских помещений на третий этаж в секцию, где ВСЕ было импортное. Итальянские сапоги, финские куртки, югославские дубленки, и все по специальным ценам.

Завотделом посоветовала брать девочкам венгерские марлевые платья с вышивкой и кружевами. Ариша согласилась примерить и была в этом платье как нежная принцесса, а Алена закапризничала – платье детское. Выбрала розовую гипюровую кофту и узкие синие брючки. Заодно Ольга Алексеевна и себе купила костюм, строгий синий пиджак и расклешенная юбка в синюю и красную складку, можно и на работу, и в театр.

– У нее нет платья! Что она наденет, что?! – возмущалась Алена.

– Наденет что-нибудь, – рассеянно отозвалась Ольга Алексеевна, присела на диван рядом с Ниной, прикоснулась к плечу, мимоходом удивившись птичьей худобе. – Нина... Нина, я понимаю, что ты нервничаешь, что для тебя все здесь вновь... Но ты сегодня пойдешь в гости, и я должна сейчас объяснить тебе правила поведения. Ты понимаешь?

Нина не отвечала, смотрела в пол. Ольга Алексеевна с неудовольствием отметила: «Туповата».

– Ты... тебе лучше вообще забыть, кто ты и откуда. Ты никому – слышишь, никому не называешь свою прежнюю фамилию. Не рассказываешь, где ты раньше жила, кто твоя мама.

– Олюшонок, ты как-то чересчур, все ж таки мать, – смущенно крикнул Андрей Петрович.

– Андрюшонок! Нам необходимо расставить точки над «i». Это для ее же блага... Нина! Ты хочешь, чтобы все знали, что твоя мама пила? Чтобы к тебе относились как к дочери, уж извини, алкоголички?... Что ты так смотришь? – растерянно спросила Ольга Алексеевна, поймав странный взгляд, изучающий, неожиданно недетский.

– Я читала мамин дневник, – тихо сказала Нина.

– Ну, многие дети ведут дневники... когда я была ребенком, я тоже вела дневник, – осторожно ответила Ольга Алексеевна.

– Я читала ее взрослый дневник.

Ольга Алексеевна зажмурилась. Какая злокозненная девочка! Притворяется тихой, а сама строит злые козни!.. Что же теперь, обратно ее везти?.. Документы на удочерение будут готовы в понедельник – для Андрея Петровича все делается мгновенно.

– И что твоя мама написала в дневнике? – обреченно спросила Ольга Алексеевна.

– Что она всю жизнь любила моего отца. Она его потеряла, поэтому она пила, – застенчиво прошептала Нина.

«Слава богу», – подумала Ольга Алексеевна.

Она не злокозненная, просто ничего не знает, – не знает, но пытается судить, разобраться своим умишком...

– Перестань нести эту слезливую чушь... Любит, не любит... не твоего ума дело. Это же просто... грязно! – брезгливо сказала она. – Все, хватит об этом. ...Нина, я не предлагаю тебе забыть твою маму. Несмотря ни на что, она твоя мама. Я предлагаю тебе никогда не говорить вслух, кто ты и откуда. Поняла?.. Скажи, ты поняла?.. Нина, мы договорились?

Нина тяжело, как будто не гнула шею, кивнула.

...В мамином дневнике упоминались два имени – Ольга и Андрей. В дневнике было много пропусков, помарок, многоточий, но она поняла главное: мама и Ольга любили одного человека, Андрея. Ольга вышла за него замуж, а маму выгнала из дома и из Ленинграда.

У Нины, прожившей все свои одиннадцать лет в поселке, в полуразвалившемся доме с веселыми пьющими соседями, конечно, имелся четкий ответ на вопрос «откуда берутся дети». Когда мужчина и женщина выпивают, веселятся, ложатся на кровать и делают ЭТО, ЭТО бывает прилично, когда мужчина лежит на женщине, а бывает неприлично, как делают собаки. Но доскональное бытовое знание только увеличило ее недоумение – неужели мама делала ЭТО с Андреем Петровичем? Неужели мама всю жизнь любила этого человека с животом и тяжелым взглядом? Нина думала, что он похож на артиста Ланового с открытки, такой же красивый, необыкновенный.

Ее забрали, потому что она дочь Андрея Петровича. Он заставил Ольгу Алексеевну забрать ее. Она не хотела ее забирать, она и переночевать у них не хотела, даже присесть отказалась. Брезгливо морщилась, кривилась, когда открыли шкаф, чтобы достать вещи, а оттуда вывалились бутылки. Но ведь это она во всем виновата! Из-за нее мама пила!

«Ненавижу, ненавижу... – твердила про себя Нина. – Буду жить у них и ненавидеть, а потом отомщу...»

ПОТОМ отомщу... Никто не станет вступать в прямую конфронтацию, если ты еще не взрослый и от всех зависишь.

– Как она пойдет?! Без приглашения! Без платья! – перечисляла Алена.

Андрей Петрович притянул к себе близнецов, посадил на колени и, поманив рукой Нину, – и ты иди сюда, неловко пристроил Нину между коленей и обнял сразу всех троих.

– Алена! Смотри у меня, Алена! – притворно строго сказал он. – Три сестры Смирновы – это звучит гордо. Ты меня поняла, кисонька?

– Мяс! – свирепо ответила Алена.

\* \* \*

Андрей Петрович дремал на диване в гостиной, Ольга Алексеевна сидела рядом, проверяла курсовые работы, изредка взглядывала на мужа – лицо усталое, даже во сне...

...Бедный Андрей Петрович, за что ему все это?.. Двенадцать лет назад он сразу сказал: «Каткин хахаль – плесень!» Спекулянт, фарцовщик – плесень.

Катка была студентка, он старше Катки, лет тридцати, слишком хорошо одетый, слишком свободный. Представился инженером. Катка жила дома, с ними, иногда ночевала у него. Сожителя ее Андрей в дом не пускал, но Катку же не выгонишь!..

Андрей вел себя идеально, хотя Катка и не его сестра. Сказал – если он тебя бросил, мы ребенка вырастим, но если не бросил, чего не женится? Катка умничала, кривлялась, – вы не понимаете, у него сейчас дело государственной важности. Девочку он, правда, признал, дал ей свою фамилию. Катка все пела над ребенком: «Нина Кулакова, Нина Кулакова».

Как-то вечером Катка оставила ребенка Андрею и через час примчалась домой счастливая – за ребенком. Сказала, что он забирает их к себе. Ушла, но через день вернулась домой. Его задержали на улице, на глазах у Катки. Катка подбежала, но ее не подпустили. Она видела, как из его кармана достали пачку денег.

Андрей по своим каналам узнал: в момент задержания в кармане Кулакова Н. С. находилось 34 тысячи рублей – зарплата за двадцать лет работы инженером.

...После того как началась кампания в прессе, в один день появились статьи в «Ленинградской правде» и в «Вечернем Ленинграде», Андрей ночью вывез Катку с ребенком в деревню. Катка упиралась, хотела идти на суд – черт его знает, что бы эта сумасшедшая там

вытворила!.. Чтобы не рисковать, – чтобы им не рисковать, ей нужно на время спрятаться. Катьке-то было все равно, что она теряла – институт? Да плевать ей было на институт! Слава богу, Катька не была его женой или официальной сожительницей, осталась в стороне. Если бы они были женаты, Андрею Петровичу – все, какую. Родственник – крупный валютчик – это не только с поста вылететь, а из партии.

...Андрей Петрович вел себя на пятерку, убеждал Катьку, объяснял: «Ты только представь, он валюту лапал, доллары, а потом ЭТИМИ РУКАМИ твоего ребенка трогал...» Катька тонким голосом отвечала: «Подумаешь, доллары... я его люблю».

Всю дорогу от Ленинграда до подмосковной деревни Катька твердила: «Я не верю, что его расстреляют, я буду ждать».

Они отправили Катьку в деревню, а вернуть забыли...

Нет!.. Они не подличали, не лишали Катьку жилплощади в их общей квартире, Андрей ездил к ней, уговаривал вернуться, но Катька отказывалась, и так все пошло потихоньку уже без нее. Когда райком дал им квартиру в Толстовском доме, нужно было сдать старую квартиру, и Катьку пришлось выписать. Получилось, что они лишили Катьку и Нину ленинградской прописки, лишили возможности передумать, обрекли на жизнь в этом жутком поселке, но квартира в Толстовском доме не могла ждать... Это не была подлость, просто житейское дело.

Книга «Диалектический материализм» 1954 года издания, десять глав и заключение, выучена Ольгой Алексеевной наизусть. «В произведении “Материализм и эмпириокритицизм” В. И. Ленин разоблачил нелепые приемы, употреблявшиеся идеалистами... Идеализм вопреки науке и здравому смыслу объявляет первичным сознание, а материю, внешний мир считает вторичным, производным от сознания...» Марксистское решение основного вопроса философии является всесторонним, материя первична, сознание вторично, но Катька как будто вернулась, как будто все время рядом... сидит здесь, в гостиной первого секретаря райкома, и тонким голосом заявляет: «Подумаешь, доллары»...

Разве можно сердиться на мертвых? Ольга Алексеевна сама себе удивлялась – оказывается, можно.

\* \* \*

Родителям Виталика действительно было безразлично, сколько девочек придет на день рождения сына, – сестрой Смирновой больше, сестрой Смирновой меньше.

Вадим Ростов и Светлана Моисеева жили в первом дворе Толстовского дома в подъезде налево от арки, напротив Смирновых. У них был открытый дом, в котором собирались друзья, друзья друзей, знакомые знакомых, – всем было лестно побывать у знаменитостей.

Светлана Моисеева не была в полном смысле слова знаменитостью. Она пела в Кировском театре, меццо-сопрано, вполне удачно исполняла вторые партии: партию Ольги в «Евгении Онегине», Амнерис в «Аиде», Лауры в «Каменном госте», Марфы в «Хованщине», ездила на все заграничные гастролы – ее всегда брали. Правда, злые языки шептали: голос у Моисеевой скромный, верхи слабоваты, играет она лучше, чем поет, и ее неуязвимое положение в театре объясняется не талантом, а мужем, – жене Вадима Ростова не откажут ни в роли, ни в гастролы.

Настоящей знаменитостью был Вадим Ростов, победитель международных конкурсов: первое место на конкурсе пианистов имени Вана Клиберна, затем на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Ростов много гастролировал за рубежом, в Ленинграде бывал редко, и каждое его выступление в родном городе становилось событием. Кроме светской публики и меломанов на его концерты традиционно приходили консерваторские профессора и филармонические старушки – ведь это НАШ Вадим Ростов, наш мальчик. Вот он впервые на сцене

филармонии с пионерским галстуком на груди – Второй концерт Сен-Санса, вот он выпускник консерватории, ученик профессора Серебрякова – на концерте выпускников играл «Аппассионату» Бетховена экспрессивно и одновременно романтично, с редким сочетанием филигранной техники и эмоциональности, – уже тогда было ясно, что у нас растёт солист международного уровня. Наша гордость, Вадим Ростов, прошёл путь к славе на наших глазах.

Виталик Ростов, единственный сын Светланы и Вадима, жил в Толстовском доме уже очень давно – четыре года. Он ещё нигде не жил так долго. За первые три года жизни Виталик переезжал пять раз. Каждые полгода они – мама-папа-Виталик-нянька-домработница – оказывались в новой квартире. Светлана Моисеева любила менять жильё, любила слова «варианты обмена», и её муж, узнав о новых «вариантах», цитировал Райкина: «Меняться бум? Бум меняться, я тя спрашиваю?» – и сам себе отвечал: «Меняться бум».

Это была настоящая страсть, страсть к обмену жилплощади, – или к перемене мест. С обменом Ростовы не всякий раз улучшали свои жилищные условия, иногда ухудшали, новая квартира была для Светланы лучше прежней уже потому, что была новой. Правда, недолго, всего пару месяцев. Отметив новоселье, Светлана звонила знакомому начальнику отдела в Горжилобмене и озабоченным голосом ставила задачу: «Хочу поближе к Кировскому театру...» Поближе к театру, с видом на Казанский собор, у Таврического сада, с видом на Неву, первый и последний не предлагать.

Иногда случались казусы. Одна из квартир находилась по адресу Дворцовая набережная, 4. Услышав адрес, Светлана сказала: «Это же рядом с Зимним дворцом!.. Я даже смотреть не пойду, я уже знаю – я буду жить рядом с Зимним дворцом, я уже мысленно там живу...» Квартира на Дворцовой набережной в доме XVIII века по соседству с Зимним дворцом оказалась огромной, с залом пятьдесят метров, но с печным отоплением и без водопровода.

В Толстовском доме Светлана поневоле задержалась. Виталику исполнилось семь лет, его отдали в школу, – 206-ю, на Фонтанке, и когда к окончанию Виталиком первой четверти Светлана принесла следующий вариант обмена, всегда покорный муж неожиданно встал на дыбы – ни за что, дай ребёнку окончить школу! Они обязаны дать Виталику нормальную жизнь, а нормальная жизнь подразумевает стабильность. Светлана не считала это причиной для того, чтобы киснуть на одном месте при том, что в городе осталось ещё столько прекрасных вариантов обмена... например, предлагают интересную квартиру у Летнего сада, потолки с лепниной пять с половиной метров, прямо дворец!.. Но Вадим стоял на своём: Виталик окончит десять классов в одной школе – школьные друзья остаются на всю жизнь.

Светлане и самой понравилось жить в Толстовском доме: красивый двор, огромная барская квартира, во всем солидность, правильная буржуазность, в меру большие комнаты, в меру высокие потолки. Ей, между прочим, и без дворцовой пышности квартиры у Летнего сада все завидуют: блестящий муж, бесчисленные друзья, многолюдные обеды, прекрасная жизнь.

Вадим Ростов бывал в Ленинграде редко, и вот какая радость – на этот раз его приезд совпал с днем рождения сына.

## Дневник Тани

Случилось невозможное. Позор.

Я стараюсь не думать, а когда вдруг вспоминаю, сразу же встряхиваюсь, как собака после купания.

Я повела себя как уличная девка. Или как дворовая девка? Уличная девка – это проститутка (из Горького), а дворовая девка – это крепостная девушка (из Тургенева), но как тогда сказать?

Теперь все по порядку.

Мы много раз бывали у Виталика. И на дне рождения тоже, каждый год. У Виталика всегда потрясающие дни рождения, на которые все мечтают попасть. В позапрошлом году был фокусник из цирка, а в прошлом году мы прямо на дне рождения ставили спектакль с настоящим режиссером из театра, «Золушку» (я была мачехой, а Золушкой была Алена). А в этом году бал!!!

У нас дома обычно, как у всех: книги, книги, одни книги, а у них очень красиво, все старинное, много картин. По стенам кроме картин развешаны фарфоровые тарелки императорского фарфорового завода, их коллекционировал дед Виталика. В углу старинный шкаф для фарфора, пастушки, пастушки, мама Виталика Светлана Леонидовна говорит, Севр и Сакс. В ее комнате я тоже была, там туалетный столик как в музее, на нем флаконы, флакончики. В целом, дома у Виталика как будто декорация из фильма «Война и мир». Как будто Виталик Ростов – граф Ростов.

Я очень волновалась, когда мы слевой и Аленой и Аришей шли по двору и по лестнице. Мы впервые были официально приглашены на настоящий прием, где будет много взрослых гостей. Но для меня главное Вадим Ростов. Я видела его на афишах, а вживую никогда. Мама говорит, он очень глубоко философски осмысливает музыку. При чем здесь философия? Есть техника и эмоциональность, а про философию она говорит для красоты. Кстати, о красоте. Вадим Ростов очень красивый.

Он очень красивый, возможно, я испытываю к нему чувство любви.

Ха-ха-ха! Я не так глупа, чтобы думать, что это любовь, это, конечно, литературная влюбленность в гениальново взрослово человека.

Мы встретились во дворе слевой и с близнецами, с ними была еще какая-то девочка. Алена сказала, что она ненадолго приехала из другого города и ее не удобно оставить дома одну, хотя за нее будет стыдно, потому что она тупая и не умеет есть ножом и вилкой. И мы пошли к Виталику. Я была со скрипкой как дура. Виталик попросил меня прийти со скрипкой, чтобы я могла сыграть, если попросят. Мне пикировать на скрипке в присутствии самого Вадима Ростова?! Это смешно, когда бы не было так грустно. Его мама хочет, чтобы его друзья показали свои таланты. А Леву, что, заставят задачи решать?

Я думала – куда мне девать скрипку? Я бы зарыла ее в землю, но во дворе асфальт.

Зарыла бы, а потом не отрыла...

Я волновалась как Нина Заречная из пьессы Чехова «Чайка», когда она вот-вот увидит знаменитого писателя Тригорина. Мы это еще не проходили, но я уже давно прочитала все пьессы Чехова. Мне не понравилось. Слишком больно душе. Очень грустно и безвыходно. Но с другой стороны грусть и печаль украшают душу больше чем счастье.

Потом.

Нет.

НЕТ!!!

Я не хочу об этом писать. Когда-нибудь, возможно, напишу, но не сейчас.

\* \* \*

Дружеский круг Ростовых состоял из нескольких кругов и кружков. Самый близкий – друзья Вадима по музыкальной школе и консерватории, и дальний, более официальный, а между близким и дальним было еще несколько кругов. И приемы Светлана устраивала для разных кружков разные.

Приятельницы Светланы из театра обижались, когда их не звали на главные приемы, – гости Ростовых принадлежали к городской культурной элите, познакомиться с ними было

лестно – и бесполезно. Но больше всего ценились интимные семейные торжества для самых-самых... – в театре не было человека, который не мечтал стать в этом доме самым-самым, иметь незыблемое право на ВСЕ приемы и возможность небрежно, как будто между прочим, заметить: «Вчера у Ростовых...» Стремясь перейти в близкий круг, приятельницы интриговали, не останавливаясь ни перед чем – пересказав самые последние сплетни, оттолкнуть друг друга от Светланы, посидеть с Виталиком, достать что-нибудь дефицитное, от импортного бюстгальтера до новой домработницы или хорошего врача. Во всех этих интригах Светлана с наслаждением исполняла роль хозяйки салона, светской дамы, играла в игру «кто похвалит меня лучше всех».

Это была – власть, но Светлана властвовала изящно, словно не замечая, что может одарить вниманием или проигнорировать, пригласить или не пригласить, осчастливить или опечалить.

У Светланы всегда был открытый дом, в Ленинграде ли Вадим или на гастролях. Но все гости всегда втайне надеялись застать Вадима: в его присутствии все играло яркими красками. Приемы, на которых присутствовал сам Вадим, были не просто хороши, а блистательны: казалось, что нигде не кормят так вкусно, не бывает так многолюдно и весело, как в доме Ростовых.

На день рождения Виталика Светлана пригласила БЛИЗКИЙ КРУГ. Но неожиданный, вне концертного расписания, приезд Вадима собрал огромное количество гостей. Были не только друзья, но и недруги: музыковед, отметивший у Вадима чрезмерную экзальтированность в манере исполнения Баха, дирижер, с которым Вадим разошелся во взглядах на трактовку произведений Шостаковича, музыкальный критик, обвинивший Вадима в отсутствии творческого патриотизма, в том, что он никогда не исполняет сочинения советских композиторов: Кабалевского, Свиридова, Хренникова. Как друзья, так и недруги, – Светлана называла их завистниками, совершенно позабыли о поводе встречи и искренне удивились, увидев в прихожей стайку детей, – а дети-то тут зачем? ... Ах, день рождения... неужели уже одиннадцать, кажется, только вчера... «Только вчера», связанное с Виталиком, для тех, кто годами бывал в доме Ростовых, было у каждого свое. Детские прегрешения Виталика вспоминались со смехом: высыпал в ботинок гостя весь имевшийся в доме сахар, вырезал дырку в кармане пальто, вытащил из сумки всю косметику, – но все эти на первый взгляд не вполне невинные шалости всегда имели такую забавную цель, что вызывали не раздражение, а оторопь – какой необычный, совершенно непредсказуемый ребенок! В ботинок, полный сахара, Виталик укладывал спать игрушечного медведя – медведь спит в сугробе, в карман пальто Виталик наливал воду – это дождь, а тушью и помадой Виталик раскрасил себя как индейца. Детские каверзы его были ТАЛАНТЛИВЫЕ, и в школе Виталик, невысокий, рыжеватый, с проказливым лицом, считался талантливым ребенком, не в учебе, хотя он был на хорошем счету, учился без блеска, но стабильно, – талант был разлит в его подвижной физиономии. Он разыгрывал мгновенные сценки на улице, на литературе читал в лицах басни, на переменах сыпал анекдотами, смешными словечками, – у ребенка таких родителей должны быть прекрасные артистические способности, и они у него были.

Виталик выхватил из стайки Леву, потащил к отцу: вот тот самый Лева Резник – математик, гений, мой друг, а домработница в кружевной наколке повела остальных детей вглубь квартиры. Первой шла Алена, за ней, как за мамой-уткой, робкой стайкой, Ариша, Нина и Таня. Скрипку Таня оставила в прихожей, спрятала за вешалку.

– Я сейчас, – вдруг сказала Алена и заскочила в комнату справа по коридору, – кабинет хозяина дома, прикрыла за собой дверь, приставила к двери стул, чтобы не открыли, и быстро стянула с себя кофту. Сняла лифчик, повертела в руке, – куда его девать? Оглядевшись по сторонам – рояль, письменный стол... выдвинула ящик стола, сунула лифчик в ящик.

Алена передела кофту задом наперед, не застегивая пуговицы на груди, – получилось декольте. Здесь все женщины в вечерних платьях, с голыми спинами, с декольте, и только она одна была в глупой кофте с детским вырезом по горлу! Таня с Аришей не считаются, они еще

маленькие, а Нина вообще НЕ СЧИТАЕТСЯ... Теперь у нее декольте, как у всех!.. Нет, не как у всех! Такой нежной, розовой, хоть и маленькой груди нет ни у кого! Алена скосила глаза вниз, расстегнула еще одну пуговицу и удовлетворенно улыбнулась.

Первой в столовую вошла Алена, остановилась на пороге, тряхнув золотыми волосами, и тут же кто-то восхищенно заворковал – ах, какая красавица, вылитая Мерилин Монро...

Ольга Алексеевна сказала «первый бал Наташи Ростовой», и Алена действительно испытывала чувства, схожие с чувствами Наташи Ростовской на первом балу, – была приятно возбуждена, как будто сейчас к ней подлетят флигель-адъютанты и пригласят на вальс. Ариша и Таня были взволнованы не меньше Алены, но по другим причинам. Ариша стеснялась такого количества чужих людей, ОСОБЕННЫХ, людей искусства, Таня была заморожена своей литературной влюбленностью и очень внимательно следила за своими чувствами, чтобы потом все описать в дневнике. Не волновалась только Нина – за сегодняшний невыносимо трудный день она впервые оказалась в ситуации, где от нее ничего не требовалось, впервые могла передохнуть. Нина была в зеленом бархатном платье с круглым вышитым воротником и пышной юбкой – Аришином, Ариша носила это платье несколько лет назад, а теперь оно ей мало и на локте крошечная дырочка. Но для Нины это было новое прекрасное платье, такой красоты у нее никогда еще не было. И она успокоилась, подумала – может быть, ничего? Может быть, никто не заметит, что она не такая, как они?

В самой большой комнате, столовой, стоял длинный стол, покрытый крахмальной скатертью. Скатерти были не в моде, но Светлана была не из тех, кто следует моде, пусть мода следует за ней. На столе фамильный сервиз деда Ростова, золотистые гербы немного стерлись, но разглядеть можно – единорог и три башни.

Детей усадили вместе, на одном конце стола, Алenu и Аришу рядом с Виталиком и Левой, а Таню с Ниной напротив них. Таня смотрела во все глаза – вот он, Вадим Ростов! Оживленный, веселый – в нем как будто особенный заряд – возглавляет стол, гости не сводят с него глаз, беспрерывно смеются. Светлана Леонидовна в вечернем платье – хоть сейчас на сцену, в роли Амнерис в «Аиде». Она говорила «платья надоели на сцене!», но любила нарядное, яркое, пышное, украшенное бисером, кружевами. Декольте, пышная грудь, и вся она пышная, большая, – оперная певица.

– Первый тост за Светку... – Вадим встал и с бокалом в руке подошел к роялю. – Светка, тебе... – И, поставив бокал на крышку рояля, начал играть.

Любая вещь из его обычного концертного репертуара была бы праздником, но то, что происходило сейчас в столовой Ростовых – Вадим в бешеном темпе играл регтайм Джоплина «Кленовый лист», – было чудо, с которым гости не могли встретиться нигде, кроме дома Ростова.

Мажорный пассаж, пауза, арпеджио... замерли гости, замерла домработница, державшая в руках поднос с маленькими модными тарталетками с красной икрой, точно такими, как подавали в буфете Кировского театра... бравурные аккорды, секунды потрясенного молчания, аплодисменты, и Вадим поклонился низко, как на концерте.

Светлана выглядела немного смущенной, смотрела в стол, нервно постукивала пальцами, и Вадим, заметив ее недовольство, – действительно, это же не бенефис его, не концерт, тактично перешел к показу их семейного номера – «певица-звезда и недотепа-аккомпаниатор». Вышел из комнаты и появился снова, уже не собой, а застенчивым аккомпаниатором, подчеркнуто скромно прошелестел к роялю. Затем Светлана – выплыла королевским выходом солистки, сделала аккомпаниатору характерный небрежный знак рукой – начинайте. Вадим начал, смешался, задрожал лицом, она недовольно показала ему что-то в нотах и запела... аплодисменты, Светлана улыбнулась, поклонилась, снисходительным жестом указала на Вадима, и он угодливо согнулся в карикатурно низком поклоне.

Застолье длилось уже около часа, выпили за Виталика, уже не раз выпили за его гениального отца и роскошную маму, и затем один за другим пошли тосты, неофициальные, смешные. Кто-то пропел поздравление на мотив песни из только что показанного фильма «Как закалялась сталь», кто-то гениально сыграл в лицах диалог «художник и власть», изобразив секретаря обкома по идеологии Круглову, хорошо знакомую многим присутствующим. Мимо нее не проходил ни один важный вопрос: разрешение на заграничные гастроли, документы на предоставление звания заслуженных и народных, – и чем выше было положение человека в культуре, тем ближе он был с ней знаком. Сценка с «Кругловой» вызвала оживленное обсуждение – не так давно она запретила Юрского на телеэкране и теперь фактически выживала его из Ленинграда. Кто-то показал сценку «на гастролях»: музыкант в целях экономии варит борщ в раковине своего номера и при стуке в дверь прячет кипятильник в футляр от скрипки, – это была тема, набившая оскомину, но всегда живая, все смеялись...

Никто не заметил, что произошло на другом конце стола.

На детском конце стола девочки, сидящие рядом, мирно разговаривали, шептались, и вдруг одна из них широко размахнулась, по-мальчишески ткнула кулаком в плечо своей соседке и тут же вцепилась ей в лицо. Та вскрикнула, вскочила, смахнув несколько фужеров, замерла, – и тут все разом потянулись взглядами в конец стола.

Таня стояла, как будто собиралась произнести тост. На ее щеке четко отпечатались четыре кровавые дорожки от Нининых ногтей.

Она не могла опуститься на свое место, не могла выйти из-за стола, не могла произнести ни слова, не чувствовала неловкости от того, что невольно стала центром всеобщего внимания... она даже не чувствовала боли – от невозможной нереальности происходящего. Никто ни разу в жизни Таню не ударил, и сама Таня ни разу в жизни никого не ударила, ни в песочнице за куличик, ни в детском саду за игрушку. Даже в детстве Таня никогда не встречала девочку, которая ДЕРЕТСЯ. А уж теперь, когда они взрослые, это по меньшей мере странно. Как вообще взрослый человек может прикоснуться к кому-то иначе, чем по-дружески? Взрослые люди разрешают конфликты словами. Она бы ни при каких обстоятельствах не смогла поднять ни на кого руку! ...Почему эта девочка вдруг набросилась на нее, расцарапала ей лицо, за что?! Она НИЧЕГО ей не сделала! Заметила, что та все время молчит, и сказала несколько вежливых незначущих фраз, что-то вроде: «Ты была в Эрмитаже? А в Русском музее? Алена говорит, что ты скоро поедешь домой. Жаль, что ты здесь ненадолго». Что она сделала?.. За что она ее так?!

– Дорогие товарищи, в то время как все сасисесские сраны... – сказал Вадим притворно официальным голосом, пародируя Брежнева, – у нас произошла драка трудящихся... один трудящийся начистил морду другому трудящемуся... Я предлагаю вынести выговор без занесения и... выпить за мир во всем мире и конкретно в этом доме.

Все заулыбались – дети подрались, это ерунда, даже забавно, – зашумели, потянулись друг к другу с рюмками и бокалами, выпили. И вдруг, в полной тишине, – бывает такое мгновение за большим шумным столом, когда все на секунду замолкают, – вдруг в полной тишине на весь стол раздалось:

– Жидовка!

Наверное, даже внезапно свалившийся с потолка пришелец из космоса не вызвал бы такого ошеломления. Никто не взглянул на своих соседей – не послышалось ли, никто не улыбнулся неловко, и гости, и хозяйева обомлели, замерли, затаили дыхание, настолько противоестественно это прозвучало – в ЭТОМ доме, за ЭТИМ столом! В этом доме, за этим столом не удивились бы ничему, ни обидному спору, ни матерному словечку, ни даже пьяному бешенству – всякое бывало. Но «жидовка»?..

– Кто я? – удивленным шепотом переспросила Таня.

– Жидовка! – еще раз в полной тишине яростно выплюнула Нина.

В следующую секунду, резко проехавшись по полу, шаркнули стулья, со стола со звоном полетела посуда, – Таня бросилась на Нину, не разбирая, где у этой ненавистной девчонки лицо, где волосы, она уже не помнила больше о приличиях, о том, что взрослые люди разрешают конфликты словами, она уже не помнила себя. Если бы в этот момент ее спросили, чего она хочет, она бы прорычала яростно: «хочу ее разорвать».

Девочки, сцепившиеся в клубок, катались по полу. Таня горячо, но неловко молотила Нину по спине, по плечам, Нина дралась зло и умело, как дерутся, желая унижить врага, стараясь сильно не повредить, но подмять под себя. Высокая Таня быстро оказалась под маленькой Ниной, и Нина, одной рукой прижимая ее к полу, другой пыталась разодрать ее свитер от горла до пояса.

Дети отреагировали на эту дикую сцену быстрее, чем взрослые. Взрослые еще не успели опомниться, броситься разнимать, сидели, как в театре, а Алена уже билась над ними, старалась войти в их объятие, стать третьей. Но Нина вцепилась в Танины плечи так сильно, что Алене оставалось только пытаться отодрать ее от Тани, как злобное животное, – она и пыталась схватить Нину за воротник платья и вытянуть, как за поводок в собачьей драке, но безуспешно.

– С ума сошли, совсем свихнулись, – бормотал Виталик, в ногах которого валялся и вылез клубок.

– Мама говорит, нельзя вмешиваться в уличные драки, но мы ведь не на улице, – раздумчиво произнес Лева. Медленно прошествовал к клубку – как будто единственный живой посреди заколдованных замерших фигур – и вылил на клубок последовательно графин с морсом, бутылку шампанского и, помедлив, добавил бутылку красного вина. Как ни странно, этот алкогольный душ помог, – клубок, отряхиваясь и постанывая, прощально взвыл, зашипел, как утюг, на который брызнули водой, затих и распался на отдельных девочек.

Лева и Алена развели Таню и Нину в разные стороны, и тут, опомнившись, подскочил Виталик, разыграл рефери на ринге: скомандовал «бокс!», «стоп!», «снимаю очко» и поднял вверх руку «победителя», вдруг обмякшей, как кукла, Нины.

Все это – «жидовка», драка, алкогольный душ и мимическая сценка «боксерский бой» – длилось всего несколько минут, и гости все еще ошеломленно молчали.

– Она сказала «жидовка»? – на весь стол спросил театральный критик Айзенберг, он был глуховат или просто опешил от слова, невозможного в этом доме.

Дети подрались – это ерунда, даже забавно. Но это было... НЕ забавно, это было по-настоящему неловко. Дело, конечно, не в том, что среди гостей были заслуженный деятель культуры Варшавский, композитор Голдштейн, кинорежиссер Малкин, искусствовед Брагинский и Фридман, никто, просто всеобщий друг... Дело было совсем не в этом. «Какая гадость, позор, как можно в доме Ростовых...» – перешептывались гости.

Светлана поднялась со своего места, мигнула стоящей в дверях домработнице – заведи детей. Но та уже и сама дергала Таню сзади за юбку, ворчала: «Ну, Танька, пришла нарядная, а домой вернешься, исцарапанная в кровь... пойдем, я тебя йодом помажу».

– Откуда в моем доме это чучело? – указывая на Нину, спросила Светлана, громко, во весь оперный голос, как восклицала в роли Лауры, обращаясь к Дону Карлосу: «Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский гранд!» И, не дожидаясь ответа, повторила: – Откуда в моем доме это чучело?

– Светлана, не нужно, не обостряй, это же дети... Девочка, дорогой мой цветок будущего, зачем же ты так... – шутливо начал Вадим и вдруг, решительно бросив шутить, свирепо заорал: – Ладно, к черту!.. Я спрашиваю: откуда в моем доме это чучело?!

Вадим Ростов никогда не повышал голос – никогда. И оттого, наверное, это вышло так страшно, что каждый из гостей на секунду в ответ заполошно вскинулся: «Не я ли привел это чучело? Нет, слава богу, не я».

И тут подняла руку Алена, как на уроке.

– Это мы. Мы привели это чучело... – смущенно произнесла Алена.

Ариша смотрела на нее, чуть не плача, – бедная Алена, ей страшно, она побледнела, закусила губу. Алена знает, что невозможно красивая и выглядит старше своих лет, но отвечать перед таким собранием – легче умереть на месте.

– Простите, – тихо сказала Алена.

Алена посмотрела на дверь – с надеждой, затем на Нину. Нина сидела с закрытыми глазами. «Как жук, который при виде опасности ложится на спину, притворяется, что умер», – с ненавистью подумала Алена.

– Ты, – брезгливо прошептала Алена, – посмотри на меня...

Нина открыла глаза, взглянула на нее... Алена вдруг резко отодвинула стул, вышла из-за стола и отчаянно, словно это было ее последнее слово, перед тем как сейчас, в эту минуту, ее лишат свободы, заключат под стражу, расстреляют, выкрикнула:

– Она не чучело! Она моя сестра! Она моя родная сестра, и нечего называть ее чучелом!

Развернулась, схватила Нину за плечо, выдернула из-за стола, вытянула Аришу,скомандовала «быстро домой!» и вывела их из комнаты, на пороге по очереди дав обоим пинка для скорости.

– Что ты как вареная макаронина, быстреей давай, быстреей! – раздался ее голос в коридоре, затем звук шлепка и удаляющийся топот.

– Кто эти лисички-сестрички? – громко спросил кто-то из гостей.

– Дочери первого секретаря райкома, – растерянно ответила Светлана.

Над столом повисло неловкое молчание, гости смотрели в стол, молчали, – да и что тут скажешь?

Вадим Ростов все еще стоял во главе стола. Как неловко, как все это неловко, – и слишком серьезно для ситуации, для нарядного стола, для праздничного оживления красивых остроумных людей, общего благостного настроения, хорошего застолья...

– Дочь секретаря райкома назвала нашу гостью жидовкой?.. – улыбнулся Вадим Ростов. – Ах, вот оно что... Оказывается, у нас тут не просто разгул бытового хамства, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ антисемитизм!

И после секундной паузы стол взорвался облегченным хохотом.

Во дворе тоже смеялись.

Первой рассмеялась Алена, сразу за ней засмеялась Ариша, – она всегда плакала и смеялась второй, за Аленой. И даже Нина улыбнулась, так заразительно хохотала Алена, пригибаясь к земле и приговаривая:

– Мама говорила: «У тебя как будто первый бал Наташи Ростовой», вот тебе и бал... первый бал... Наташа Ростова подралась на балу... – Отсмеявшись, Алена грозно сказала: – Ты. Ты всех опозорила. Папу. Маму. Меня. Аришу. Всю нашу семью. Да не дрожи ты так, как будто я тебя сейчас буду бить. Не бойся, я ничего тебе не сделаю, – ПОКА не сделаю. Просто скажи мне – как эта «жидовка» вообще пришла в твою баранью голову?

– Ты же сама говорила – они евреи, – жалким голосом объяснила Нина. – А евреи – это жида. У нас в классе всех евреев дразнили жидами. Но ведь это не самое обидное. Вот если бы я сказала «тварь подзаборная» или «сука драная»...

Алена серьезно, без тени улыбки, спросила:

– Тебе все нужно объяснять, что нельзя делать? Тогда запоминай: нельзя совать голову в унитаз. Нельзя говорить учительнице «тварь подзаборная». Нельзя кусаться. Нельзя писать на пол посреди класса. Нельзя воровать еду из тарелок в школьной столовой.

Нина не засмеялась, а так сильно покраснела, так резко прижала руки к груди, что Ариша посмотрела на нее с жалостью, – кажется, что-то похожее в ее жизни было...

Ариша сняла перчатку, задумчиво поводила пальчиком по сугробу. Палка, палка, огуречик, получился человечек. Ариша нарисовала человечку улыбку, мягко сказала:

– Нина, почему ты на Таньку набросилась? Что она тебе сделала? Танька нормальная, добрая.

Нина честно задумалась. Почему обида, страх, страшное напряжение этих дней вылилось вдруг на эту ни в чем не повинную Таньку?.. Потому что Таня сказала: «Алена говорит, что ты скоро уедешь домой». Потому что все, и Алена с Аришей, и Таня, и мальчишки – такие благополучные и на своем месте, в этом красивом Ленинграде, в этой их красивой жизни, а она всем чужая и даже не знает, где теперь ее дом. Потому что она думала, что в новом старом Аришином платье не отличается от остальных, а это оказалось не так. Разве это скажешь? Но можно сказать правду – ДРУГУЮ правду.

– Мне трудно сдержаться, когда я злюсь. Я просто себя не помню, могу сначала ударить, а потом уже думаю, – объяснила Нина. – Наша учительница говорила, что если у ребенка мать все время болеет, то он слишком часто злится на нее и вообще на жизнь, поэтому ему трудно держать над собой контроль.

– А чем болела твоя мама? – сочувственно спросила Ариша.

– Алкоголизм, – ответила Алена и уточнила: – Это не болезнь.

Девочки обменялись значительными взглядами. «Все знают, что алкоголики не больные, а отбросы общества», – сказала глазами Алена, а Ариша глазами ответила: «Пусть думает, что алкоголизм – это болезнь, это же все-таки ее мама...»

Нина неожиданно улыбнулась Алене:

– Ты соврала, что я ваша сестра. Из жалости. Ты больше не ври. Ты меня ненавидишь, я знаю. Все видят, что я не такая, как вы все. Тебе стыдно, что я с вами.

– Стыдно... – подтвердила Алена. Высоко занесла руку, как для удара, и такой у нее был решительный вид, что Нина напряглась, ожидая удара и уже готовясь дать сдачи, но Алена как будто передумала ее бить и только покрутила пальцем у виска.

– Алена, прости ее! – попросила Ариша.

Нина вдруг, почему-то обращаясь только к Арише, прошептала «я больше не буду», как ребенок.

– Ты. Слушай меня, – сказала Алена. – Не бойся, родители ничего не узнают. Никто им не скажет, все побоятся. Ты вообще больше не бойся. И больше ни с кем не дерись, если что, я сама тебя защищу... защиту... в общем, ты теперь под моей защитой. А сейчас ты пойдешь к Таньке извиняться. Дождемся, когда она пойдет домой, подождем пять минут, и ты пойдешь за ней, я скажу, в какую квартиру.

Нина испуганно вскинулась: в квартиру?.. домой? опять идти к кому-то домой?! Опять к незнакомым, непонятым людям?!

– Пожалуйста, Алена, не надо ее заставлять. Можно я пойду за нее извинюсь? – предложила Ариша. – Ей и так плохо! Она так сильно Таньку обидела, ты подумай, как ЕЙ САМОЙ из-за этого плохо...

– Ей плохо?! – грозно сказала Алена. – А оскорблять людей своим паршивым языком ей нормально?! ...Ладно уж, иди за нее извиняйся. ... Я тоже пойду. Мы втроем пойдем и извинимся.

## Дневник Тани

Я думала, что никогда не захочу об этом написать, но я захотела уже на следующий день. Когда пишешь, становится легче, к тому же мне просто хочется писать, описывать жизнь.

Когда я пришла домой, мама принялась и спросила «ты пьяная?», стала кричать «она пьяная, ребенок пьяный!», потом сказала «ой, кровь» и чуть не упала в обморок, и стала кричать «что они с ней сделали, что?!»

А когда они узнали! Они бы ничего не узнали, но мама уже оделась, чтобы идти к родителям Виталика, и мне пришлось все рассказать.

Мама сказала папе: ты доктор наук, у тебя учебники, иди к Смирнову, он не посмеет от тебя отмахнуться. отмахнуться (глагол отвечает на вопрос что сделать?)

Папа сказал: Кто я для него? У нас ректора не назначают без первого секретаря райкома. Я для него букашка, а вовсе не «профессор, учебники...»

Папа сказал тете Фире: лучше ты официально вызови его в школу.

Тетя Фира сказала маме и папе: оба вы сумасшедшие букашки, кто я для него, тоже букашка.

Дядя Илюша сказал: я вам говорил.

И посадил меня на колени, и покачивал как маленькую, а остальные стояли рядом и смотрели на меня с трагическими лицами, как будто я сейчас умру прямо у них на глазах на коленях у дяди Илюши от того, что меня называли жидовкой.

И тут, посреди всеобщего горя, пришли Алена с Аришей и этой гадиной Ниной. Мне стало ужасно неловко, что это такой торжественный приход, чтобы Нина встала на стул и попросила прощения. Поэтому я быстро сказала «девчонки, давайте пить чай».

Но Алена не согласилась. Она сказала:

– Я как председатель совета отряда нашего класса прошу у тебя прощения за нее... за мою сестру. Она все поняла, поняла, что оскорбила не только Таню, а моего отца, первого секретаря Петроградского райкома партии, и всех, всю нашу страну... – отчеканила Алена.

– Да? Всю страну? – удивился дядя Илюша.

Алена не поняла, что он иронично переспросил, а тетя Фира поняла и дернула его за рукав.

– Да. Всю нашу страну. У нас интернационализм, – убежденно ответила Алена. – У нас вообще нельзя говорить про национальность. В нашей стране все равны.

– Извинения приняты – сказала я и быстро добавила «давайте пить чай».

А дядя Илюша вдруг быстро сказал.

– Девочки, идите домой. Тане нужно заниматься.

Я просто онемела! Он при гостях никогда даже не смотрит на часы, потому что хочет, чтобы гости никогда не уходили.

По-моему, это Аленино «у нас в стране все равны» произвело на него такой эффект, не меньший эффект, чем на меня эта омерзительная «жидовка», а даже больший.

Девочки ушли.

Папа сказал, что Нина не виновата, она не антисемитка, а просто человек из другой среды.

Папа также сказал, что Алена с Аришей от меня дальше, чем Нина, что нам не надо дружить, что мы чужие. Нет, не чужие, а чуждые.

Вот и неправда, они мои лучшие подруги. А гадину Нину я ненавижу! О, как я ее ненавижу! Разве человеку из другой среды можно говорить мне «жидовка»?!

Опять я хочу плакать. Не каждый день случается первый бал. Не каждую девушку на первом балу поливают водкой как бешеную собаку.

Мама послала меня заниматься. Сказала – у тебя этюд на двойные ноты. Я не могла поверить, что она заставляет меня заниматься в такой день в таком состоянии. Но она сказала, что неподходящих для занятий дней не бывает, и заниматься нужно в любом состоянии.

А скрипка-то осталась у Виталика за вешалкой!

Я думала, хоть в чем-то мне повезло, но это был весь целиком ужасный день – пришел Лева и принес скрипку.

Я играла гамму до мажор, мама сидела с напряженным лицом. Потом скомандовала – теперь давай этюды. Сначала третий... теперь пятый...

– Почему у тебя руки дрожат – спросила мама.

Мама крикнула.

– Руки дрожат! Успокойся и играй!

Потом я играла этюд в двойных нотах. Двойные ноты очень трудные, я играю двойные ноты чисто, для пятого класса неплохо. Но сейчас этот этюд был для меня как головоломка... Мама кричала «настоящий человек это самодисциплина!»

Я вдруг на секунду представила, что между нами такой диалог.

Мама. Настоящий человек это прежде всего самодисциплина. ... самодисциплина... настоящий человек... самодисциплина... бу-бу-бу...

Я (решительно) Я от тебя ухожу.

Мама (с насмежкой). Куда это, интересно?

Я. Я уже договорилась, меня принимают в зоопарк.

Мама. Кем же?

Я. Енотом.

Мама (одобрительно). Ну что же... Для начала неплохо.

Я все это говорила про себя, и стала смеяться и получила по физиономии нотной тетрадкой.

Ненавижу самодисциплину.

А диалоги, оказывается, писать интересно, потому что

Через два дня

До этого черного дня я жила как цветок на подоконнике, а теперь... Не знаю, как сказать, скажу прямо – я урод. Не внешне, внешне я ничего. Я моральный урод. Меня раздрают два противоречивых чувства.

Самое трудное человек должен пережить один, поэтому я ни с кем не говорила о своем мучительном раздвоении личности, только слевой.

Диалог меня и Левы

Я. У меня два противоречивых чувства.

Первое чувство. Я не хочу быть еврейкой. Не хочу, чтобы меня могли обидеть, оскорбить.

Второе чувство. Мне стыдно, что я не хочу быть еврейкой. Ведь это означает, что я предатель своих родных.

Лева. Существуют задачи, в которых описываются операции, совершаемые над каким-то объектом, и требуется доказать, что чего-то этими операциями добиться нельзя. Решение состоит в отыскании инвариантов.

Я. Чего?..

Лева. Инварианты – это некоторые свойства, которые сохраняются при операциях. Тебе нужно найти у себя такое свойство, которое позволит тебе не обижаться.

Я. Чего?..

Сегодня мы с Аленой и Аришей навещали Нину в больнице. Нас отвез водитель их папы прямо из школы. Я не хотела ехать, но Ариша сказала «Нина заболела на нервной почве». И я подумала – ладно, навещу.

Больница странная. Не такая, в которой я лежала, когда мне удаляли аппендицит. Это была взрослая больница, потому что у тети Фиры там знакомый врач. Там было невыносимо:

в коридоре кровати, на кроватях старушки, к ним никто никогда не подходит, их до слез жалко, а в палате 10 человек, очень плохо пахнет.

А эта больница как красивая гостиница в кино, у Нины отдельная палата, цветы, даже телевизор, и принесли очень красивый обед с апельсинами на третье. Водитель сказал – ей полагается эта больница как члену семьи первого секретаря.

Нина лежит очень бледная, но температуры уже нет. Сказала «девочки, я не хочу домой, то есть, к вам домой». Алена сказала, она бредит после высокой температуры.

Я хотела сказать ей что-нибудь очень обидное. Например, что она... ну, не знаю... Но не сказала, а просто спросила, как она себя чувствует.

Но это не потому, что я такой уж добрый и интеллигентный человек от рождения. Если человека с тонкой и легко ранимой душой обидели, он просто не сможет причинить другим боль, которую испытал сам.

Дядя Илюша сказал – не думай о ней, пошли ее к чертовой матери, и все.

Так что я простила ее к чертовой матери.

И. Я разрешила свои мучительные противоречия!

Если меня кто-нибудь когда-нибудь назовет «жидовка», я не буду как миротворец объяснять ему, что все люди равны. Я не буду говорить, что русская интеллигенция никогда не позволяла себе антисемитизма. Говорить так это как будто я прошу – не обижайте меня! Я не буду оправдываться, что среди великих людей много евреев. (Дядя Илюша пел песню со словами «отец моих идей, Карл Маркс и тот еврей».)

Я знаю, что я сделаю. Я буду сразу драться.

И еще. Теперь у меня есть миссия.

Потом напишу какая.

Андрей Петрович Смирнов так никогда и не узнал, что стал персонажем анекдота. «Балерыны» рассказывали в своем кругу, как дочь секретаря райкома показала ЕГО истинное лицо, выступив яркой дворовой антисемиткой.

Ольга Алексеевна некоторое время недоумевала, почему Фира Зельмановна, классный руководитель девочек, смотрит мимо нее на родительских собраниях. Почему Светлана Ростова, родители Тани Кутельман и отец Левы Резника, встречаясь с ней во дворе, так странно себя ведут – опускают глаза, делая вид, что не замечают ее, не знакомы. А потом все забылось, и все стало как прежде. Все же они со странностями, эти люди искусства и лица еврейской национальности...

Почему Алена вдруг показала себя такой защитницей, такой благородной? Но Алена действительно была благородная девочка.

Почему она сразу не пожалела сиротку?.. Что, вот так просто взять и принять ЧТО-ТО – Нину? Согласиться, что она не сама решает?!

Может быть, ее, человека с сильной волей, привлекла чужая слабость? И она САМА РЕШИЛА: «Если что, я сама тебя защитю».

Чужая душа потемки, а Аленина тем более. «Сама» – было первое, что она сказала. Отец называл ее «самосильная» и «самоумная», что означает сама своей силой, сама своим умом.

\* \* \*

С возвращения Нины из больницы прошло две недели.

Андрей Петрович, как обычно, в 7:30 выходил из дома, возвращался с работы не раньше десяти вечера. Перед выходом он всегда звонил, сначала из кабинета – выхожу, потом из вестибюля райкома – выхожу из райкома, сажусь в машину. «Зачем обставлять свое возвращение

домой как военную операцию, – сплетничала секретарша Андрея Петровича, – чтобы жена успела к его приходу снять бигуди?»

Насчет бигуди было неумно, потому что неправда. Все в райкоме знали, что жена первого не домохозяйка, а преподаватель, кандидат наук. А секретарша тем более была в курсе семейного режима и знала, что три раза в неделю Ольга Алексеевна появляется дома за несколько минут до прихода мужа.

В Техноложке у Ольги Алексеевны была нагрузка доцента – 660 часов в год, в неделю получалось 16 часов, – лекции и семинары, по научному коммунизму были еще курсовые. Это была обычная нагрузка доцента, и, если подойти к этому спокойно, можно было жить вполне припеваючи. Но Ольга Алексеевна сама увеличивала свою нагрузку: готовилась к по многу раз читанным лекциям, в конце каждой лекции давала контрольные, все ее семинары начинались со студенческих докладов, а семинары по «Истории партии» с контрольных по датам. Доклады нужно было заранее просмотреть, контрольные проверять... А заставлять студентов пересдавать по пять раз? Пересдачи – это личное время преподавателя, которое он отнимает у себя самого, у своей семьи.

Все это – и еще три раза в неделю вечерние лекции в Университете марксизма-ленинизма. Университет марксизма-ленинизма был недалеко от дома, на Мойке, 59, а иногда занятия проходили в филиале, во дворце Штакеншнайдера на углу Невского и Фонтанки, и Ольга Алексеевна могла пробежать от одного своего места работы до другого через дом, передохнуть между лекциями, проверить девочек.

«Зачем ты корячишься на двух работах, я, кажется, зарабатываю... Твоя зарплата что, имеет значение?!» – ворчал Андрей Петрович.

Зарплата Ольги Алексеевны в Университете марксизма-ленинизма действительно не имела значения, но имели значение престиж и дело – в Университет марксизма-ленинизма брали только самых лучших преподавателей. Ольга Алексеевна была лучшей. Но ворчал Андрей Петрович любовно, ему нравилось, что она один из лучших преподавателей города и что у нее есть настоящее дело, дело, которому она служит.

Андрей Петрович звонил – выхожу, сажусь в машину, Ольга Алексеевна кидала взгляд в зеркало, подкрашивала губы и шла на кухню, проверяла, все ли сварилось, поджарилось, вскипело, – и прислушивалась к звукам, доносящимся со двора. Услышав, что приехала машина, выходила в прихожую, – так у них повелось, как будто глава семьи возвращается с поля и жена встречает его у околицы.

На звук хлопнувшей двери выходили девочки. Алена с разбегу запрыгивала на отца, щекотала, дула в ухо, Ариша подходила тихо, прижималась нежно, шептала что-то еле слышно, но он всегда слышал. Каждый вечер в прихожей Смирновых повторялась одна и та же картинка, как кадр немого кино: Андрей Петрович обнимает девочек долго и крепко, Ариша таит от нежности, Алена ерзает, пытаясь вылезти, выбраться из его рук, и Нина – неловко замерла поодаль.

Каждый вечер Нина готовилась к приходу Андрея Петровича, мучительно обдумывала, что ей делать. Выйти встречать его вместе со всеми? Нехорошо, как будто она претендует на такое же внимание, как его родные дочери. Остаться в комнате тоже нехорошо, как будто ей безразлично, что он пришел, как будто она демонстрирует обиду. Она всегда выбирала средний вариант, каждый раз разный, то маячила позади в коридоре, то выглядывала из комнаты, стараясь не смотреть на него, – вот она, она здесь, но ему не нужно обнимать ее, как Алену и Аришу, вообще не нужно ее замечать.

Андрей Петрович наталкивался на Нину взглядом, размягченным нежностью к близнецам, и всякий раз как будто недоумевал, – а это кто такая? – но тут же перестраивал недоумение на ласковость и задавал всегда один и тот же вопрос: «Ну, молодежь, как дела?.. День прошел

с пользой?» Нина напряженно улыбалась, не знала, что ответить, не рассказывать же ему, как прошел день. И ей было неловко, что из-за нее ему приходится перекраивать лицо.

Из бесконечной череды таких ситуаций теперь состояла ее жизнь.

Вот, казалось бы, совсем неглавные проблемы.

Она попыталась назвать своих новых родственников «тетя Оля» и «дядя Андрей», но Ольга Алексеевна напряженно улыбнулась: пожалуйста, не называй нас так.

– Тетя Оля, когда вы меня в школу отдадите? – спросила Нина, и Ольга Алексеевна чуть не сорвалась.

– Я же, кажется, ясно сказала, – никаких тетя и дядь!.. – холодно отозвалась Ольга Алексеевна, смягчив злость улыбкой. Досада – на себя, не на Нину – булькала в ней пузырьками, еще немного, и перельется через край, выплеснется наружу нетерпеливым жестом, раздраженным словом... Стыдно так раздражаться!.. Андрей Петрович с Ниной ласков, и она постарается полюбить Нину, это ее долг.

– Все будут думать, что ты наша дочь, а ты – «тетя-дядя»...

Нина кивнула. Но она не сказала, как ей к ним обращаться?! Мама-папа? Она не посмеет, да и не получится, рот немеет, как будто под наркозом. Девочки называют родителей «мусик и пусик». Что же, и ей говорить чужим страшным людям «мусик-пусик»?!

Вечерами было тяжело, но за вечером наступало облегчение – ночь, за ночью утро, – утром все кажется легче, и каждое утро Нина с нетерпением ждала половины девятого.

В 7:30 Андрей Петрович уходил из дома, а ровно в 7:40 раздавался звонок в дверь. Ольга Алексеевна открывала двери, забирала из чьих-то рук пакет с молочными продуктами – творог, сметану, масло, сливки каждый день привозили из совхоза Шушары. Они вчетвером завтракали. «Утром нужно есть молочные продукты», – каждый раз замечала Ольга Алексеевна Алене, норовившей схватить кусок буженины или ветчины, а Ариша и Нина послушно ели творог необыкновенной сладости и рассыпчатости.

В половине девятого Ольга Алексеевна и девочки уходили из дома.

С половины девятого Нина оставалась дома одна. Ходила по квартире, как Алиса в Зазеркалье, как бедная родственница, как Фанни Прайс по господскому дому, не столько восхищаясь размерами комнат и красивыми вещами, сколько печалась от такого количества непривычных, непонятого назначения предметов. Можно, конечно, насмешливо сказать, что это было советское великолепие – полированная стенка, телевизор «Сони», но это было великолепие того времени – для всех, а тем более для девочки из подмосковного поселка. Их с мамой быт был тощий, как рваная прогнившая сетка, а у них – ВАЗЫ. Нина мысленно называла своих новых родителей «они», – у них богато. Человека более изощренного удивило бы, например, наличие в квартире трех телефонов, но Нину как раз это не удивляло, ведь в Зазеркалье нет правила, чтобы был один телефон. Вазы казались Нине верхом роскоши, она осторожно, бочком, как будто ОНИ оставили глаз следить за ней, подбиралась к большой хрустальной вазе в гостиной, подносила палец, но не прикасалась.

В кабинет и спальню Нина не заходила, даже когда ИХ не было дома. Приходила на кухню, открывала холодильник. Еда!..

Нина ничего без них не ела, не ела даже суп, который Ольга Алексеевна оставляла на плите, тем более не притрагивалась к деликатесам. Вернее, как раз притрагивалась, трогала пальцем промасленную бумагу, в которую было завернуто нежно-розовое мясо, называется буженина, приблизив лицо к полке, нюхала красную рыбу, рассматривала икру, – черная икра некрасивая, а красная очень красивая, как будто красные бусинки в хрустальной вазочке. Она никогда не видела такой еды, не знала, что есть такие вкусные запахи. Особенно Нину манили фрукты – дома она летом ела яблоки из соседских садов, но зимой фруктов не бывает! А у них в холодильнике было лето – яблоки, груши, персики, бананы! И все можно потрогать.

Девочки приходили из школы голодные, суп не ели, отрезали по большому куску бужеины, ели икру ложкой прямо из банки, без хлеба, жевали шоколадные конфеты – и ее заставляли, хотя она по-хозяйски экономно настаивала на супе.

Казалось бы, девочки ее приняли. Алена сказала: «Ты под моей защитой». Но КАК это – быть под ее защитой?.. Самое лучшее время – половина девятого утра, когда Ольга Алексеевна и девочки уходили из дома.

От подъезда они расходились в разные стороны, девочки неслись налево, через дворы Толстовского дома на Фонтанку, Ольга Алексеевна выходила из двора и шла направо, к остановке троллейбуса у Пяти углов. На троллейбусе от Пяти углов до Технологического института пять минут.

Пять углов, пять минут... пять минут до Пяти углов и пять минут в троллейбусе всегда было временем, которое она в буквальном смысле тратила на себя, не планировала лекцию, не думала о муже и о девочках, просто плыла в приятном ощущении своей нужности людям, значимости своей жизни – ранним утром она едет на работу, в аудитории ее ждут больше ста человек...

Сейчас Ольга Алексеевна тоже тратила это время на себя – ругала себя, обвиняла, оправдывалась перед собой и сама себя не прощала. Она не справляется с взятыми на себя обязательствами. Девочка напряжена, живет, как будто она не очень желанная гостья. Прежде чем войти в гостиную или на кухню, стучит в дверь, и в дверь детской стучит – можно войти? Она объясняла: «Ты не должна стучать к девочкам, ты тоже здесь живешь», и как от стенки горох...

...Ольга Алексеевна не глупая, не злая... почему-то все ее достоинства начинаются с «не». Зато Ольга Алексеевна обладала редкой чертой – в отличие от большинства людей она свои недостатки знала: она не теплая, не из тех, кто может от души ребенка приветить.

Она неплохой человек, с пониманием, ответственностью – подошла к Нине как к конспекту лекции, составила план, тезисы... Но не получается. Все, что она делает, отталкивает Нину. Все хорошее, что хотела сделать, не доводит до конца. Не показала домашнюю технику, не сходила вместе с Ниной купить одежду – забежала во Фрунзенский универмаг, похватила что-то с прилавков. Что-то оказалось велико, что-то мало, и все ужасное, и вышла неловкость, – Алена с Аришей одеты в красивое, импортное, а Нина в советское, некрасивое.

Со школой для Нины Ольга Алексеевна намеренно не торопилась: решила дать ей время привыкнуть к дому, к девочкам, к ней самой. Думала, уж как-нибудь изыщет возможность побыть с Ниной вдвоем, познакомиться поближе, узнать друг друга и... и так далее. Но нет времени, категорически нет времени! Сессия – экзамены, консультации, курсовики, лекции в Университете марксизма-ленинизма никто не отменял... Пусть уж Нина отправляется в школу поскорей, жизнь войдет в свою колею.

С понедельника Нина пойдет в школу. Ольга Алексеевна отдала Нину в тот же класс, где учатся девочки. Ольга Алексеевна еще раз объяснила всем троим – в школе никаких разговоров об удочерении.

Ариша кивнула, а Алена презрительно дернула плечом.

– Глупо! Так не бывает, чтобы лгать в глаза, придумывать какую-то чушь, а люди верят!

Ольга Алексеевна задумалась. Как объяснить девочкам – верят люди или нет, не имеет значения. Важно заставить людей вести себя так, будто они верят. Как объяснить девочкам, что от частого повторения ложь становится полуправдой, а затем правдой? Как объяснить девочкам – чем абсурдней ложь, тем с большим уважением к этой лжи относятся?.. Слишком сложно, они еще маленькие.

– Все, Аленушка, вопрос закрыт.

Ариша подошла к матери, прижалась:

– Ты устала, мамочка, ты очень устала...

Ольга Алексеевна растила близнецов одна. Алена была трудным ребенком – все криком, хочет игрушку – кричит, на горшок – кричит, хочет спать – кричит. Когда было совсем уж неумоготу, Ольга Алексеевна утыкалась в Аришу, Ариша как будто понимала: маме тяжело, их двое, а Ольга Алексеевна одна.

Ариша – добрая душа. Детский сад был в соседнем доме, девочки сами домой возвращались, и Ариша кого только в дом не тащила – то птенца подбитого, то кошку выброшенную, а однажды привела троих детей, за которыми мамы не пришли. Соврала воспитательнице, что Ольга Алексеевна их ждет. Андрей Петрович тогда за Аришу переживал, – что за всеобщий защитник такой, всех не пережалеешь, такая романтика к добру не приводит. Алена – в первом классе командир звездочки, затем староста, с пятого класса бессменный председатель совета отряда, сейчас лидер класса – опасений у него не вызывает.

Он гордится, что Алена – прирожденный лидер. Говорит, живи Алена во время Французской революции, стояла бы на баррикадах, во время Гражданской войны была бы комиссаром, во времена комсомольских строек строила бы ГЭС.

Андрей Петрович думает: раз Алена – лидер, значит, она сильная. Но Ольга Алексеевна как историк партии больше про суть лидерства понимает. Как всякий лидер, Алена зависимая, зависит от своего самолюбия, тщеславия, зависит от своих решений. И личная жизнь у таких женщин проблематична, к примеру, Клара Цеткин рассталась с мужем из-за различного отношения к войне, она была против империалистической войны, а муж записался добровольцем в армию.

Андрей Петрович за Аришу боится, думает: хорошо, что Ариша при Алене. А на самом деле боязно-то за Алenu – разве общественный темперамент приносит женщине счастье? Да еще при такой-то красоте!

Слабая-то Ариша на самом деле сильная, такая сила, наверное, была у святых, от житейской суеты отрешенных. Ариша ничего не решает, ни на чем не настаивает, просто живет, производит доброту, как пчела мед... Андрей Петрович ничего про девочек не понимает...

– Я устала, я очень устала... – повторила за Аришей Ольга Алексеевна, прижав руку к груди.

Это правда, она очень устала. Устала от двойной лжи. Никто не должен обсуждать удочерение, люди должны привыкнуть говорить о Нине как об их дочери. А девочки не должны знать, что Нина их сестра...

Может быть, Андрей Петрович прав, не нужно было городить всю эту сложную конструкцию? Но Андрей Петрович сам любит повторять: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Любая лишняя нить может привести к той давней истории.

Ольга Алексеевна обняла своих трех дочек. У нее три девочки, три... От Ариши исходит нежность, успокоение, от Алены как будто током бьет, от Нины... ничего.

– Нина, надеюсь, ты все понимаешь правильно, – все это ради тебя, твоего будущего. А люди... что ж, – спросят и отстанут.

...Это был, конечно, абсурд – убеждать людей, что в семье Смирновых родилась одиннадцатилетняя дочь. Но Ольга Алексеевна не так уж была не права: люди спросят, удивятся и отстанут, сестра так сестра, кому какое дело. И, конечно, прекрасна была уверенность Ольги Алексеевны в том, что, как она захочет, так и будет.

## Дневник Тани

О моей миссии.

Я поступила в театральный кружок для пятых-шестых классов. Кружок ведет актриса Каморная. Она, наверное, жена (не может быть, что однофамилица, потому что фамилия ред-

кая) моего любимого артиста Каморного. Он не только мой любимый артист, он... глупо влюбляться в артистов? Да.

На поступлении нужно было прочитать басню Крылова. Я прочитала «Слон и моська». Меня приняли! Ура!  
Ура! Ура! УРА!  
Вообще-то, принимали всех.

Будем ставить «Снежную королеву». Я мечтала о роли Герды, или Маленькой разбойницы, или принцессы. Но на распределении ролей мне досталась роль слуги. Хорошо, что не оленя и не вороны.

Я не расстраиваюсь. Хотя, конечно, сыграть Герду было бы здорово, это ведь не просто девочка, а олицетворение верности и преданности.

Но у меня в этом кружке совсем другие цели. У меня МИССИЯ.

Моя миссия – чтобы в мире исчезла национальная рознь.

Не все люди понимают слова «так нехорошо», или «так нельзя». Но все люди понимают искусство.

Я покажу, что все люди одинаковые, все страдают, влюбляются, смеются. Тогда все поймут, что нельзя презирать человека, нельзя говорить презрительно «жидовка», «татарчонок», «армяшка» и др. Потому что от таких слов до убийства людей и детей по их национальности один шаг, совсем недалеко. Все в мире должны это понять, и можно начать с нашей школы.

Я буду делать инсценировку «Дневник Анны Франк».  
Я сама напишу и сама сыграю Анну.

Уже написала Вступление. Я буду сидеть за столом (стол в центре сцены, чуть вправо, на столе книги, тетради и плюшевый мишка). Вступление будет читать мой голос за сценой, записанный на магнитофон. Читать надо очень просто, без выражения.

Вступление.

Дорогие потомки! ...Вообще-то у меня нет потомков, потому что меня убили. Меня убили за то, что я еврейка.

Я хотела смеяться, целоваться, учиться в университете, и хорошо бы, если бы у меня были дети, мальчик и девочка. У меня даже могли быть внуки, это смешно и невозможно представить – у меня внуки! Когда меня убили, мне было 15 лет.

Я изучала историю, я читала газеты и слышала много разговоров о политике. Я понимаю, зачем Гитлер придумал уничтожить евреев. Для объединения нации ему нужен был враг, а евреи беззащитные, у них нет своей страны, нет армии. Я могу понять, зачем он это придумал.

Но я не могу понять, как взрослый человек может сказать девочке – я тебя сожгу, потому что ты недостойна жить.

Я до сих пор не могу понять – ЗА ЧТО МЕНЯ УБИЛИ?

А может быть, не надо этого вступления, что она жертва войны, а как-нибудь построить по-другому, начиная с Анны-девчонки и постепенно приближаясь к страшному концу. Сыграть живую девочку, а не только жертву войны. Надо будет поговорить с Каморной.

Что Анна жертва, должно быть понятно лишь в самом конце. Тогда действительно будет очень впечатляюще.

И в начале радостный, смешливый тон, постепенно переходящий в удивленный и тоскливый.

Я должна показать обычную девчонку.

Положительные свойства Анны

Доброта

Веселость

Готовность дать списать, отдать сладости Не может гадко говорить о вопросах пола  
Серьезно относится к дружбе очень откровенная.

Отрицательные свойства Анны нетерпимость к матери не очень глубокие чувства не придает значения поцелую легкомысленность.

Ну, значит, главная черта в характере Анны легкомысленность.

Эта ее черта очень близка мне.

Анна хочет не обращать внимания на насмешки и придирки и поэтому закрывается в себе, и я тоже.

«А так как каждый артист должен создавать на сцене образ, а не просто показывать себя зрителю, то перевоплощение становится необходимым» Станиславский.

Это в большой степени ко мне относится, потому что у меня душевное сходство с Анной.

Но если я покажу себя, это будет никому не интересно. Мне надо показать не себя, а именно Анну, не заштриховывая те ее черты, которые мне не свойственны.

Станиславский подчеркивал, что «характерность – не внешняя сторона», но мне хочется все-таки на нее походить внешне, я ведь не артистка и, по-моему, тогда больше вживусь в образ. Можно сделать такую же прическу, как у нее на фотографии.

«Самой главной бедой в актерской игре является обозначение чувств вместо подлинного их наличия» Товстоногов.

Это особенно страшно для меня, ведь если я не увлеку зал, то надо мной просто будут смеяться.

Каморная все время твердит, что надо думать, о чем говоришь, а не увлекаться красотой голоса. А я хочу говорить красиво!

Хотя абсолютно верно. Я не должна быть «вдохновенным докладчиком своей роли» (Станиславский или еще кто-то, не помню).

Страшно – вдруг не получится?

«Ежели бессчастия бояться, то и счастья не будет»

Петр Первый.

\* \* \*

Удалось ли Тане поставить на школьной сцене «Дневник Анны Франк»?.. Нет. «Дневник Анны Франк» был арестован Фаиной, и со школьной сцены не прозвучало: «Я до сих пор не могу понять – ЗА ЧТО МЕНЯ УБИЛИ?»

Таня стала задумываться, много писала, родители обеспокоились, спросили – о чем ты думаешь, что пишешь? Таня охотно показала им свою написанную до середины инсценировку, и отец запретил ей продолжать.

– Нет, – сказал Кутельман, сгибая пополам Танину тетрадку.

– Что, так плохо? Но я могу все переделать... – пробормотала Таня.

– Не надо переделывать.

– Что, ТАК плохо?.. – задохнулась Таня.

– М-м... нет. Я даже в некоторых местах растрогался... но...

Профессор Кутельман переглянул с женой.

– Зачем подчеркивать все национальное? – сказала Фаина. – Мы прежде всего культурные люди, а наша культура русская. Разве Пастернак еврей? Он русский поэт. Он отказался

войти в Антифашистский Еврейский комитет, сказал, что его отношение к фашизму не исчерпывается его еврейским происхождением... Пастернак прежде всего русский интеллигент.

Фаине хотелось считать себя русским интеллигентом, как Пастернаку, и «все национальное» казалось ей мелким, местечковым.

Профессор Кутельман объяснил дочери – еврейская тема слишком щекотливая. «Дневник Анны Франк» был издан, но – вот такая двойственность – можно было издать «Дневник», но нельзя ставить на школьной сцене, можно говорить об Освенциме, но нельзя об уничтожении евреев на Украине...

– Все, Таня, разговор окончен.

Таня повертела в руках потрепанную книжку.

– Но ее же убили... Я не хотела быть еврейкой, а теперь я хочу... Я ХОЧУ быть еврейкой, раз ее убили!

– Ты можешь быть еврейкой назло своей матери-антисемитке, – улыбнулся Кутельман, – но ты не должна выпячивать свое «хочу» в ущерб другим людям. Слово «еврей» не должно звучать со сцены. Тетя Фира – завуч, ваш классный руководитель, и она еврейка. Ты понимаешь? У нее могут быть неприятности. Ты хочешь, чтобы к ней начали придирааться, вынудили уволиться?

Таня стояла красная, прижимая тетрадь к груди, – она не хотела неприятностей тете Фире!

Она была так напугана и обескуражена, что не удивилась, если бы отец велел ей закопать свою тетрадь во дворе под кустом. Или съесть.

Кроме ужаса перед возможными тети-Фириными неприятностями, кроме неловкости за неуместный интерес к «национальному», Тане было стыдно – она настолько плохо написала, что мама нисколько, ни одним словом ее не похвалила. У мамы на лице было то же выражение, с которым она говорила ей «ты, конечно, далеко не красавица», выражение снисходительного дружеского подбадривания. Что, неужели ТАК плохо?..

Этот разговор, обидный и не до конца понятный, вылился в разговор ДО КОНЦА ПОНЯТНЫЙ, – как всегда, об учебе.

– Человек должен выполнять свои прямые обязанности... Дай мне «Дневник Анны Франк» и не думай больше об этом... – сказала Фаина. – Твои обязанности – это учеба и музыкальная школа, а ты... Помнишь, что произошло в декабре? А ты ВСПОМНИ.

Обычно в музыкальной школе к Новому году устраивали концерт, на котором играли лучшие ученики, а в последний раз, два месяца назад, в конце декабря, для развлечения родителей решили провести концерт как конкурс. Танин учитель в музыкальной школе советовался с Фаиной, дать ли Тане сыграть концерт Баха, – этот концерт много выше ее возможностей. Фаина сказала – конечно, дать, пусть будет трудно, пусть учится работать. На конкурсе Таня заняла второе место. Учителя отметили, что она потеряла в музыкальности, играла невыразительно, так как была поглощена техническими трудностями, но технически – ритм, темп и чистота звучания – сыграла очень хорошо. Таня заняла второе место, и Фаина сказала ей – ты нас опозорила.

– Ты вспомни, – сказала Фаина.

– Она помнит, не начинай... – нахмурился Кутельман. Музыка как математика, в ней есть первые и все остальные. Таня не талантливая скрипачка, у нее хороший слух, но нет божьей искры. Но Фаина никак не может смириться с тем, что их дочь – это ОСТАЛЬНЫЕ.

Тане не удалось исполнить свою миссию – чтобы во всем мире исчезла национальная рознь.

Может показаться, что Таня слишком взрослая для своих одиннадцати лет, что таких взрослых одиннадцатилетних девочек не бывает. Но это ее подлинный дневник.

Может также показаться, что в одиннадцать лет она гораздо взрослей, чем в сорок. Но и так бывает – человек рано взрослеет и чрезвычайно серьезно относится к миру и уважительно к себе, а потом, с годами, становится все шаловливей и шаловливей. И уже не так серьезно относится к миру и не так уважительно к себе.

### Дневник Тани, 2010 год

В новостях по всем каналам – Гриша.

Гриша отказался от миллиона долларов.

По всем каналам – Перельман получил миллион долларов за решение одной из семи задач тысячелетия, Перельман отказался от миллиона долларов, почему он отказался от миллиона долларов?

Когда Грише весной присудили премию за доказательство гипотезы Пуанкаре, в прессе была довольно сдержанная реакция, – ах, гипотеза Пуанкаре... а что такое гипотеза Пуанкаре... не объясняйте, это не интересно... Гипотеза Пуанкаре крайне далека от народа. Даже о теореме Ферма слышали больше людей.

А сейчас!

Деньги!

Потому что людей по-настоящему интересуют только ДЕНЬГИ!

Деньги, поэтому все чрезвычайно возбудились – хотят знать, как это – отказаться от МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!

Гриша не дает интервью, и никто не знает почему. А я знаю.

Я сказала маме – я знаю, почему Перельман не дает интервью.

Мама тут же вспыхнула:

– Это звучит крайне самонадеянно, что ты можешь знать о ТАКОМ человеке?

Да?... А сколько времени я провела, слоняясь по двору Дворца пионеров около огромных елей? У входа в корпус, в котором был маткружок? Или поджидая Леву в коридоре у аудитории? Пока они решали свои задачки? Гриша был вместе слевой в маткружке. Если встретить женщину, которую знала девочкой, то это совершенно незнакомый человек, все эти детские бантики-секретки-косички не имеют к этой взрослой женщине никакого отношения. А мальчики не меняются, мальчики сразу навсегда. Тем более Гриша.

Лева ходил в маткружок два раза в неделю, два раза в неделю умножить на девять учебных месяцев умножить на два года – равно вечность. Так вы меня спрашиваете, откуда я знаю за Гришу?

Вот черт, какой прилипчивый этот одесский говор!

Я только что закончила писать серию, где действие происходит в Одессе. Не уверена, что в Одессе есть люди, говорящие с «одесским» акцентом. Не уверена, что в природе вообще есть такие люди! Но в сериале все должны говорить именно так – это требование редактора.

Потом я много раз видела Гришу в 239-й. Я вот только не помню, учились они слевой в одном классе или в параллельных. Но на стенах 239-й школы на втором этаже они до сих пор висят рядом как победители всех олимпиад на свете. В этой школе галерея победителей олимпиад, как галерея героев войны 1812 года в Эрмитаже.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.